роальд даль

мальчик

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эта книга, по признанию автора, не является автобиографией, которую пишут, чтобы рассказать о собственной жизни, и в которой, как правило, полно всяких скучных деталей и подробностей.

Перед вами — мастерски перенесенные на бумагу воспоминания детства. Некоторые из них — забавны. Другие — болезненны. Третьи — неприятны. И все — правда.

В книгу в качестве приложения входит «Чудесная история Генри Шугара».

-
-
-
- Предисловие
- ТОЧКА ОТСЧЕТА
  - Папа и мама
  - Детский сад
- СОБОРНАЯ ШКОЛА ЛЛАНДАФФА
  - Велосипед и кондитерская
  - Великий Мышиный Заговор
  - Мистер Кумбз
  - Месть миссис Пратчетт
  - Едем в Норвегию
  - Волшебный остров
  - Поход к доктору
- В ШКОЛЕ СВ. ПЕТРА
  - Первый день
  - Письма домой
  - Экономка
  - Тоска по дому
  - Автомобильные гонки
  - Капитан Хардкасл
  - Малыш Эллис и фурункул
  - Козий табак
- РЕПТОН И ШЕЛЛ
  - Наряд для большой школы
  - Боузеры
  - Директор
  - Шоколадки
  - Коркерз
  - Прислуга

- Игры и фотография
- Прощай, школа

• Приложение

Родившийся в 1916 году в Великобритании Роальд Даль знаменит дважды: как автор блестящих рассказов с непредсказуемыми концовками — для взрослых и как один из самых известных в мире писателей для детей. После его смерти в ноябре 1990 г. газета «Таймс» назвала Даля «одним из наиболее читаемых и влиятельных писателей нашего поколения», потому что он «умел проложить непоколебимый курс по той линии, не толще волоска, где встречаются и переплетаются ужасное с комичным…» «Дети обожали его истории, он стал их кумиром… Знатоки думают, что его повести станут в будущем классикой».

К числу таких действительно ставших классическими произведений принадлежат: «Джеймс и гигантский персик» (James and the Giant Peach), «Чарли и шоколадная фабрика» (Charlie and the Chocolate Factory), «Чарли и Великий стеклянный лифт» (Charlie and the Great Glass Elevator), «Волшебный палец» (The Magic Finger), «Фантастический мистер Фокс» (Fantastic Mr. Fox), «Матильда» (Matilda) и другие.

Посвящается Альфхильде, Эльзе, Асте, Эллен и Луи

Предисловие

Автобиография — это книга, которую пишут, чтобы рассказать о собственной жизни, и в ней, как правило, полно всяких скучных деталей и подробностей.

Эта книга — никакая не автобиография. Я никогда не взялся бы писать историю собственной жизни. С другой стороны, в юном возрасте, то есть в школе и сразу после нее, со мной случалось немало такого, про что я никогда не забуду.

Вообще-то, ничего важного, но каждое из этих происшествий оставило на мне такой сильный отпечаток, что мне так и не удалось избавиться от них. Все они, хотя минуло вот уже пятьдесят, а то и шестьдесят лет, до сих пор у меня в памяти.

Так что нет нужды силиться их вспомнить. Надо только перенести их с поверхности сознания на бумагу.

Некоторые воспоминания — забавны. Другие — болезненны. Третьи — неприятны. Может, потому я помню их так живо. И все — правда.

Р. Д.

ТОЧКА ОТСЧЕТА

Папа и мама

Мой отец Гаральд Даль — норвежец, родом из городка, который называется Сарпсборг и находится близ Осло. Его отец, а мой дед, был вполне процветающим купцом и держал лавку в Сарпсборге — там продавалось все что угодно, от сыра до металлической сетки для заборов.

Я пишу эти строки в 1984 году, но этот мой дед родился, хотите верьте, хотите — нет, в 1820 году, вскоре после того, как Веллингтон разбил Наполеона у Ватерлоо. Доживи мой дед до сего дня, ему б было сейчас сто шестьдесят четыре года. А моему отцу был бы сто двадцать один год. Как отец, так и дед поздно начали обзаводиться собственным потомством.

Когда отцу моему исполнилось четырнадцать — с тех пор как никак больше сотни лет минуло, — он полез на крышу отцовского дома, чтобы заменить пару плиток черепицы, поскользнулся и сорвался вниз. И сломал левую руку, пониже локтя. Кто-то сбегал за врачом, и через полчаса состоялось торжественное и очень нетрезвое явление этого важного господина, прибывшего в легкой конной коляске. Врач до того был пьян, что принял перелом локтевой кости за вывих плеча.

— Сейчас мы ее мигом на место вернем! — взревел он и призвал на помощь двух случайных прохожих. Доктор поручил им держать моего отца за поясницу, а сам вцепился в кисть сломанной руки и заорал: — Тяни, мужики! Тащите что есть силы!

Боль, должно быть, была непереносимой. Жертва возопила, а мать несчастного, в ужасе наблюдавшая за этой сценой, закричала: — Прекратите!

Но врачеватели уже успели наделать дел, и осколок кости порвал кожу и вылез наружу чуть ниже локтя.

Шел 1877 год, и ортопедическая хирургия была вовсе не то, что сегодня. Так что руку просто ампутировали по локоть, и до конца дней своих моему отцу пришлось обходиться одной рукой. К счастью, потеряна была левая рука, и мало-помалу, с годами, он научился более-менее справляться со всеми нужными делами, имея в своем распоряжении только пять пальцев правой руки. Шнурки на ботинках он завязывал и развязывал не хуже нас с вами, а чтобы резать пищу на тарелке, он заточил нижний зубец вилки наподобие лезвия, так что вилка служила ему сразу и вилкой и ножом. Он хранил это свое изобретение в кожаном футлярчике, который всегда был у него в кармане, куда бы он ни шел или ни ехал. Потеря руки, говаривал он, причиняла только

одно серьезное неудобство — ему никак не удавалось срезать верхушку сваренного яйца.

Отец был на год или что-то около того старше своего брата Оскара, однако они были чрезвычайно близки друг другу, и вскоре после того, как оба расстались со школой, они отправились на продолжительную прогулку, чтобы вместе подумать о своем будущем. Они решили, что в таком маленьком городе, как Сарпсборг, и в такой маленькой стране, как Норвегия, не отыщется места, в котором можно было бы сколотить состояние. Так что оба сошлись на том, что им стоило бы отправиться в какую-нибудь большую страну, в Англию или Францию, где возможности преуспеть беспредельны.

Их отцу, добродушному великану ростом более двух метров, недоставало задора и честолюбия, свойственных его сыновьям, и он отказался поддержать такую дурацкую идею. Когда же он запретил братьям даже и думать об отъезде, они удрали из дому и как-то сумели добраться до Франции на грузовом судне.

Из Кале они поехали в Париж, а в Париже договорились разойтись в разные стороны, чтобы не зависеть друг от друга. Дядя Оскар направился на запад, в Ла-Рошель на берегу Атлантического океана, а мой отец задержался на какое-то время в Париже.

История про то, как оба брата порознь занялись бизнесом в разных странах, и про то, как оба разбогатели, достаточно любопытна, но времени на нее тут нет, потому перескажу ее как можно короче.

Сначала о дяде Оскаре. Ла-Рошель была тогда, да до сих пор и остается, портовым городом. Так вот, к сорока годам дядя стал там самым богатым человеком. Ему принадлежала флотилия траулеров, именовавшаяся «Рыбаки Атлантики», и большая консервная фабрика, где закатывали в жестянки те сардины, которые вылавливались в море его рыболовецким флотом. Он обзавелся женой из хорошей семьи и великолепным городским домом, а также большим замком за городом. Он стал коллекционировать мебель эпохи Людовика XV, хорошую живопись и редкие книги, и все эти прекрасные вещи и здания и поныне остаются собственностью семейства. Загородный замок я не видел, но в городском особняке в Ла-Рошели пару лет назад побывал, и это в самом деле нечто. Одна мебель украсила бы любой музей.

Пока дядя Оскар крутился и вертелся в Ла-Рошели, его однорукий брат Гаральд (мой отец, то есть) тоже не сидел без дела. В Париже он познакомился с еще одним молодым

норвежцем по фамилии Однесен, и оба решили работать вместе и заняться снабжением судов, то есть корабельным брокерством. Корабельным брокером называется человек, который поставляет на судно все, в чем оно нуждается и ради чего заходит в порт, — топливо и провиант, канаты и краску, мыло и полотенца, молотки и гвозди, и тысячи прочих мелочей. А самое главное, что поставляет корабельный брокер, — это топливо, на котором работают корабельные двигатели. В те времена слово «топливо» имело только один смысл. Оно означало «уголь». Тогда не было морских судов с двигателями внутреннего сгорания, в которых используется дизельное топливо или солярка. Все корабли были пароходами, и эти старинные пароходы, чтобы выйти в море, должны были брать на борт сотни, а то и тысячи тонн угля в расчете на один рейс. Для корабельных брокеров уголь был черным золотом.

Мой отец и его новый друг господин Однесен очень хорошо все это понимали. Имело бы смысл, толковали они между собой, начать свой брокерский бизнес в таком большом европейском порту, где рядом добывают много угля. Где бы это могло быть? Ответ прост. Самым большим угольным портом в то время был Кардифф в Южном Уэльсе. Так что в Кардифф они, эти два честолюбивых молодых человека, и отправились налегке, потому что багаж был крайне необременителен, если был вообще. Но мой отец прихватил с собой нечто куда более важное, чем любой багаж. У него была жена, молодая француженка по имени Мари, на которой он совсем недавно женился в Париже.

В Кардиффе была учреждена фирма «Однесен и Даль», и под контору была снята комната на улице Бьют. С тех пор у нас есть нечто, что звучит как баснословная история сказочного успеха, но на самом деле стало результатом тяжелого физического и умственного труда этих двух друзей. Очень скоро у фирмы «Однесен и Даль» стало куда больше дел, чем могли осилить сами партнеры без посторонней помощи. Пришлось увеличивать конторские площади и привлекать большой штат сотрудников. В оборот пошли настоящие деньги. Считанные годы спустя мой отец оказался в состоянии купить прекрасный дом в деревне Лландафф, совсем рядом с Кардиффом, и там его жена Мари родила ему двоих детей, девочку и мальчика. Но случилось несчастье: после вторых родов она умерла.

Когда горе и потрясение ее смертью немного смягчились, мой отец вдруг осознал, что его двоим малышам нужна хотя бы мачеха, которая могла бы о них заботиться. И еще он почувствовал страшное одиночество. Ему стало ясно, что надо попробовать найти себе другую жену. Но это было легче сказать,

чем сделать, — ему, норвежцу в Южном Уэльсе, с не слишком многочисленными знакомствами. Так что он решил взять отпуск и вернуться к себе на родину, в Норвегию, а там, как знать, вдруг повезет и он отыщет замечательную новую невесту в своей родной стране.

В Норвегии летом 1911 года во время морской прогулки по Ослофьорду на курсировавшем близ побережья пароходике он познакомился с молодой дамой по имени София Магдалена Хессельберг. Как человек, знающий толк в хороших вещах, он сделал ей предложение через неделю после знакомства и вскоре на ней женился.

Гаральд Даль отправился со своей норвежской женой на медовый месяц в Париж, а затем вернулся с нею в свой дом в Лландаффе. Оба очень любили друг друга и наслаждались счастьем, и за следующие шесть лет она родила ему четырех детей: девочку, еще одну девочку, мальчика (меня) и третью девочку. В семье теперь стало шестеро детей, двое от первой жены отца и четверо от второй. Нужен был дом побольше, и деньги на его приобретение имелись.

Так что в 1918 году, когда мне было два года, все мы переселились в импозантный загородный особняк близ деревни Радир, примерно в двенадцати километрах к западу от Кардиффа. Помню мощный дом с башенками на крыше и царственно роскошные газоны и террасы вокруг него. Еще были многие гектары пахотной земли и леса, и несколько коттеджей для работников. Очень скоро луга заполнились дойными коровами, свинарники — свиньями, а курятники — курами и цыплятами. Были несколько могучих битюгов, способных таскать и пахотные плуги, и телеги с сеном, и были пахарь и пастух, и чета садовников, и всякие слуги в самом доме.

Но если что меня и интересует более всего в этих двух братьях, Гаральде и Оскаре, так это вот что. Хотя они и выросли в маленьком городе и воспитывались в простой семье, у обоих, совершенно независимо друг от друга, выработался вкус к прекрасным вещам. Как только они смогли себе это позволить, они стали заполнять дома прекрасной живописью и роскошной мебелью. Вдобавок мой отец научился разбираться в садоводстве и стал коллекционировать высокогорные растения. Мать часто рассказывала мне про то, как они на пару устраивали походы в норвежские горы и как он пугал ее до смерти, цепляясь своей единственной рукой за отвесные утесы ради маленького альпийского цветка, растущего на каком-нибудь скалистом уступе. Еще он научился сложной резьбе по дереву, и рамы для зеркал в доме — по большей части его работа. Точно так же, как и

вся отделка камина в гостиной — великолепная композиция с рельефными изображениями плодов и листьев и переплетающихся ветвей — все это резьба по дубу.

А как трудолюбиво он вел дневники! У меня до сих пор хранится одна из многих его тетрадок времен Первой мировой войны 1914–1918 годов. Каждый день на протяжении всех тех пяти военных лет он заполнял по несколько страниц своими размышлениями и замечаниями по поводу последних событий. Писал он пером и, хотя родным ему языком был норвежский, дневники всегда вел на правильном английском языке.

Он лелеял забавную теорию насчет воспитания вкуса к прекрасному в своих детях. Всякий раз, как мать беременела, он дожидался седьмого месяца и объявлял ей, что пришла пора «славных прогулок». Эти прогулки состояли в том, что он водил ее по самым красивым уголкам и гулял с нею там по часу в день, чтобы она могла впитать в себя великолепие окрестных пейзажей. Из его теории следовало, что коль скоро взгляд беременной женщины постоянно наблюдает красоту природы, то эта красота может как-то передаваться в сознание ребенка, еще находящегося в материнской утробе, и потому такое дитя может вырасти любителем прекрасного.

Детский сад
1922–1923 годы
(6–7 лет)

В 1920 году, когда мне было только три года, первенец моей матери, моя родная сестра Астри, умерла от аппендицита. Ей было семь лет, и в том же самом возрасте, только сорок два года спустя, умерла от кори и моя старшая дочь Оливия.

Астри была любимицей моего отца. Он обожал ее без меры, и ее внезапная смерть буквально лишила его дара речи. Горе настолько подавило его, что, когда примерно месяц спустя он, простудившись, слег с воспалением легких, его очень мало заботило, жив он или уже умер.

Будь тогда известен пенициллин, ни аппендицит, ни воспаление легких не представляли бы такой опасности, но без пенициллина или какого-нибудь иного антибиотика пневмония была особенно опасной болезнью, что и говорить. Примерно на четвертый или пятый день больной непременно проходил через так называемый «кризис» — поднималась температура и учащалось сердцебиение. Больной должен был сражаться за выживание. А мой отец не стал бороться. Он думал, я в этом уверен, о своей возлюбленной дочери и хотел воссоединиться с нею на небесах. Так что он умер. Было ему пятьдесят семь лет.

И вот, за считанные недели моя мать лишилась и дочери, и мужа. Богу одному ведомо, каково это — пережить такую двойную катастрофу. Молодая норвежка в чужой стране, она внезапно оказалась совсем одна, лицом к лицу с тяжелейшими трудностями и обязанностями. Ей надо было смотреть за пятью детьми, тремя собственными и двумя приемными, и вдобавок, что уж совсем худо, она сама ожидала ребенка, который должен был родиться месяца через два. Будь она менее отважной женщиной, она наверняка продала бы дом, собрала чемоданы и укатила бы с детьми назад в Норвегию. На своей родине она могла бы рассчитывать на помощь — были живы и ее мать с отцом, и еще две незамужние сестры. Но она отвергла легкий выход.

Ее муж всегда настойчиво заявлял о своем желании, чтобы все его дети учились в английских школах. Они лучшие в мире, твердил он все время. Куда лучше норвежских. Лучше даже валлийских, хотя именно в Уэльсе он поселился и именно в Уэльсе вел свое дело. Он утверждал, что в английской педагогике есть какое-то волшебство и что именно то образование, которое дает английская школа, побудило жителей небольшого острова

превратиться в великий народ, создать великую Империю и произвести на свет величайшую в мире литературу.

«Ни один мой ребенок, — все время повторял он, — не будет учиться в школе нигде, кроме Англии».

И моя мать была преисполнена решимости выполнить желание своего покойного мужа.

Чтобы осуществить это, ей следовало перебраться на жительство из Уэльса в Англию, но тогда она еще не была готова на такое. Ей пришлось остаться на какое-то время в Уэльсе, где у нее были знакомые, способные помочь делом и советом; в частности, большой друг и партнер ее покойного мужа господин Однесен. Но хотя она и не могла пока расстаться с Уэльсом, все равно надо было перебраться в меньшее по размеру и не требующее таких больших забот жилище. Довольно было ей хлопот с детьми, а заниматься еще и приусадебным хозяйством сил не оставалось.

Так что вскоре после рождения пятого ребенка (еще одной дочери) она продала большой дом и переехала в меньший, тоже в Лландаффе, в нескольких километрах от прежнего. Новый дом именовался Камберлендской Ложей и являлся милой пригородной виллой. Так что именно в Лландаффе два года спустя, в шестилетнем возрасте, я впервые пошел в школу.

Вообще-то эта школа была детским садом, с которым управлялись две сестры — замужняя миссис Корфилд и незамужняя мисс Такер, а сам детсад именовался Домом Вяза.

Просто поразительно — до чего же мало мы запоминаем до семи- или восьмилетнего возраста. Я могу рассказать вам про кучу всякой всячины, случавшейся со мной начиная с восьмилетнего возраста и далее, но очень немного про то, что происходило со мной до того. Я ходил целый год в этот Дом Вяза, но не помню даже, как выглядела классная комната. И как выглядели миссис Корфилд и мисс Такер, мне тоже сказать нечего, хотя я и не сомневаюсь, что сестры были милы и улыбчивы.

Мне смутно припоминаются какие-то ступеньки, и я сижу на одной из них и все пытаюсь завязать шнурок на ботинке, но больше мне ничего не удается вспомнить об этой самой школе.

С другой стороны, я очень отчетливо помню свои поездки в школу и обратно — потому, наверно, что они ужасно меня возбуждали. Волнение, большое возбуждение — видимо, только это по-настоящему интересует шестилетнего мальчика и застревает у него в мозгу.

В моем случае волнение сосредотачивалось на новом трехколесном велосипеде. Каждое утро я катил в школу на своем

велике вместе со старшей сестрой, которая ехала на своем. Никто из старших нас не сопровождал, и я отлично помню, как мы вдвоем катили по самой середине дороги и разгонялись до страшных трехколесных скоростей, а потом на повороте — самый чудесный момент — мы наклонялись набок и ехали только на двух колесах.

Все это, как, наверно, вы уже поняли, происходило в те старые добрые времена, когда появление автомобиля на улице было настоящим событием и родители совсем не боялись отпускать маленьких детишек одних в школу, даже зная, что они будут гонять на своих трехколесных велосипедах прямо посередине проезжей части.

Вот и все мои воспоминания шестидесятидвухлетней давности про мой детский сад. Не густо, но это все, что осталось.

СОБОРНАЯ ШКОЛА ЛЛАНДАФФА 1923–1925 ГОДЫ (7–9 ЛЕТ)

Велосипед и кондитерская

Когда мне исполнилось семь лет, мать решила, что пора мне распрощаться с детским садом и пойти в настоящую мужскую школу. На счастье, километрах в полутора от нашего дома имелась начальная школа для мальчиков, причем известная. Она называлась Соборной школой Лландаффа и располагалась прямо в тени Лландаффского собора.

Как и собор, эта школа и по сей день действует на том же месте и по-прежнему процветает.

Но и тут мне опять почти ничего не удается вспомнить про те два года, с семи до девяти лет, что я проучился в Соборной школе. Только два эпизода отчетливо запечатлелись в моем сознании.

Первый длился не более пяти секунд, но я никогда его не забуду.

Случилось это, когда я ходил в первый класс. Я тогда в одиночестве шагал по зеленой сельской дороге, возвращаясь домой из школы, как вдруг метрах в двадцати от меня появился на велосипеде мальчик постарше, лет двенадцати, несущийся на полной скорости. Дорога вилась по холму, и велосипедист катил под гору. Пролетая мимо меня, он завращал педалями в обратную сторону, и так быстро, что все цепи и шестеренки его велосипеда завизжали, а звук был громкий, долгий и переливчатый. И при этом он снял ладони с рукояток руля и непринужденно скрестил их на груди.

Я встал, как вкопанный, глядя на него во все глаза. До чего же он был хорош! Такой стремительный, и отважный, и изящный в своих длинных брюках с велосипедными зажимами на каждой штанине и в лихо сдвинутой набекрень алой школьной фуражке! Когда-нибудь, сказал я себе, настанет и для меня день славы, и у меня будет такой же велосипед, и я тоже надену брюки с зажимами, и небрежно нахлобучу на голову школьную фуражку, и со всей скорости покачу вниз, и начну крутить педали назад, и уберу руки с руля!

Клянусь, что если бы кто-то в это мгновение схватил меня за плечо и спросил: «Чего ты больше всего хочешь от жизни, малыш? Каково твое самое страстное желание? Хочешь стать врачом? Замечательным музыкантом? Художником? Писателем? Или лордом-канцлером?» — я бы ему ответил, что единственное мое стремление, мое упование, единственная томящая меня мучительная мечта — это желание заиметь такой же велосипед и с визгом лететь на нем под гору, убрав руки с руля.

Сказка — вот что это было бы! Меня прямо-таки в дрожь кидало при одной мысли об этом.

Второе и последнее мое воспоминание о Соборной школе в Лландаффе поражает своей диковинностью.

Случилось это через год с небольшим, мне тогда только что исполнилось девять лет. К тому времени у меня уже появились кое-какие друзья, и когда я по утрам уходил в школу, то сначала шел один, а потом по дороге ко мне присоединялись еще мальчика четыре, все примерно моего возраста. Возвращаясь домой после уроков, мы впятером тем же составом проходили по зеленому деревенскому лугу и через саму деревню.

По дороге в школу и из школы мы всегда проходили мимо кондитерской. Нет, конечно, мы не проходили мимо, мы не могли пройти мимо нее. Мы всегда останавливались. И прильнув к витрине, вглядывались в большие стеклянные посудины, заполненные ирисками, сосалками, бычьими глазками и земляничными карамельками, и мятными леденцами, и кисленькими капельками, и грушевыми капельками, и лимонными капельками и всякими прочими сластями. У всех нас были карманные деньги — нам давали по шесть пенсов на неделю — и всякий раз, когда у кого-либо из нас в карманах оказывалась какая-нибудь денежка, мы всей гурьбой вваливались в лавку, чтобы купить на пенс какого-нибудь дешевого лакомства. Сам я больше всего любил шербетные сосалки и лакричные шнурки, и в самом деле походившие на шнурки для ботинок.

Мальчик из нашей пятерки по имени Твейтс сказал мне, что не надо есть лакричные шнурки. Его отец — он был врачом — сказал, что это лакомство делают из крысиной крови. Он прочитал своему сыну целую лекцию, когда однажды застал его поглощающим это лакомство в кровати.

— Всякий крысолов в стране, — рассказал ему отец, — тащит своих крыс на фабрику лакричных шнурков, и приемщик платит ему по два пенса за штуку. Столько народу разбогатело, да что там, миллионерами стало, сбывая своих дохлых крыс той фабрике.

— Но как из крыс делают лакрицу? — спросил юный Твейтс у своего отца.

— Сначала дожидаются, пока не накопится десять тысяч крыс, — отвечал отец, — потом заполняют ими огромный блестящий стальной котел, и там они варятся несколько часов подряд. Два человека помешивают в кипящем котле длинными шестами, и в конце концов получается жирная парная крысиная тушенка. Потом в котел погружают размельчитель, чтобы

раздробить кости, и получается густая сплошная масса, которую называют крысиным суслом.

— Ну хорошо, папа, но как из этого всего получаются лакричные шнурки? — спросил юный Твейтс, и этот вопрос заставил отца умолкнуть и на несколько мгновений задуматься, прежде чем дать ответ.

Наконец он сказал:

— Те двое, что помешивали варево в котле длинными шестами, теперь надевают высокие резиновые сапоги и залезают в котел, и совковыми лопатами выгребают сусло, и выкладывают его кучей на бетонный пол. Потом прокатывают кучу несколько раз паровым дорожным катком, чтобы она стала плоской. Получается такой огромный черный блин, и все, что им теперь нужно сделать, так это дождаться, пока блин остынет и затвердеет, чтобы его можно было нарезать на полоски, из которых уже легко выходят лакричные шнурки. Никогда не бери их в рот, — сказал отец. — Если будешь их есть, подхватишь крысинин.

— А что такое крысинин, папа? — спросил Твейтс.

— Все крысы, которых ловят крысоловы, отравлены крысиным ядом, — сказал отец. — А от крысиного яда бывает крысинин.

— А что бывает, когда его подхватишь? — опять спросил Твейтс.

— Зубы делаются очень острыми и утончаются, — отвечал отец. — А сзади вырастает коротенький толстый хвостик, из спины, прямо из копчика. И крысинин не лечится. Уж я-то должен знать. Я же — врач.

Нам всем очень понравился рассказ Твейтса, и мы заставляли его пересказывать эту историю много раз, пока шли в школу или из школы. Но это не помешало всем нам, кроме Твейтса, и впредь покупать лакричные шнурки. За пенс давали целых две штуки!

Шнурок, если вы не имели удовольствия держать такую вещь в руках, вовсе не круглый, чтоб вы знали. Это как бы плоская черная лента шириной примерно в сантиметр. Продают их смотанными в рулон или катушку, и тогда, во времена моего детства, лакричный шнурок бывал такой длины, что если такую катушку размотать и поднять один конец над головой на вытянутой руке, то второй конец достанет до земли.

Шербетные сосалки стоили столько же — пенс за пару. Сосалка состояла из заполненной шербетным порошком желтой картонной трубки, из которой торчала полая внутри лакричная соломка. (Крысиная кровь и тут, — имел обыкновение

предостерегать нас юный Твейтс, тыкая пальцем в эту лакричную соломку.) Высасываешь через соломку шербет, а когда он кончается, съедаешь лакричную соломку. Приятные такие они были, эти шербетные сосалки. Шербет шипел во рту, а если знать, как это сделать, то можно было выдыхать его через нос, так что ноздри покрывались белой пеной, и тогда легко было строить из себя припадочного.

А еще там были пустокляпы — их продавали по пенсу за штуку, — здоровенные круглые шарики размером с маленький помидор. Один пустокляп обеспечивал примерно час безостановочного сосания, и если время от времени вынимать его изо рта, то можно убедиться, что окраска шарика меняется. Было что-то завораживающее в том, как он из розового делается синим, потом зеленым, потом желтым. Мы часто дивились тому, как это фабрика пустокляпов умудряется делать такое колдовство.

— Как это может быть? — спрашивали мы друг у друга. — Как это можно заставить их менять цвет?

— Это из-за слюны, — объявлял юный Твейтс.

Сын врача, он считал себя непререкаемым авторитетом во всем, что имело отношение к телу. Он мог объяснить нам про струпья и предсказать, когда с них сойдет короста. Он знал, почему синяк под глазом — синий и почему кровь — красная.

— Это слюна заставляет пустокляп менять цвет, — продолжал настаивать он. А когда мы просили его поподробнее изложить свою теорию, он отвечал: — Все равно ничего не поймете, даже если я вам про это расскажу.

Грушевые капельки страшно нравились потому, что у них был такой рискованный вкус. От них пахло лаком для ногтей, и они приятно холодили горло. Всех нас предупреждали, что есть это драже опасно, но в результате мы стали пожирать это лакомство в куда больших количествах, чем когда-либо прежде.

Еще в кондитерской торговали твердыми коричневыми ромбовидными таблетками, которые назывались «щекотун миндалин». На вкус и запах эти ромбики очень сильно отдавали хлороформом, и у нас не было ни малейшего сомнения в том, что эти штучки начинены жутким анестетиком — тем самым веществом, которое в больницах дают как наркоз и которое, о чем неоднократно талдычил нам Твейтс, способно усыпить человека на несколько часов кряду.

— Когда моему отцу надо отпилить кому-нибудь ногу, — говорил он, — он набирает в подушку хлороформу, и человек дышит через нее и засыпает, и мой отец отрезает у него ногу, а тот даже ничегошеньки не чувствует.

— Ну а зачем тогда начиняют им конфеты и продают эти

конфеты нам? — допытывались мы у него.

Вам, быть может, покажется, что такие вопросы ставили Твейтса в тупик. Но Твейтса никогда ничто не могло загнать в тупик.

— Мой отец говорит, что щекотуны миндалин изобрели, чтобы кормить ими самых опасных преступников в тюрьме, — говорил он. — Их добавляют в еду и дают их преступникам всякий раз, когда в тюрьме кормят, и от хлороформа преступники делаются сонными и не бунтуют.

— Ну хорошо, — говорили мы, — но зачем их продают детям?

— Это заговор, — говорил Твейтс. — Взрослые сговорились между собой делать так, чтобы мы потише были.

Эта кондитерская в Лландаффе находилась в 1923 году в самом средоточии наших жизней. Для нас эта лавка со сластями была тем же, что кабак для пьяницы или церковь для епископа. Без нее жить было бы почти что и незачем.

Но у нее имелся один ужасный изъян, у этой лавки. Хозяйка кондитерской — это был сущий страх Божий. Мы терпеть ее не могли, и у нас на то были веские причины.

Звали ее миссис Пратчетт. Это была невзрачная костлявая старая карга с усиками на верхней губе и с искривленными, кисло-кислыми, как зеленый крыжовник, губами. Она никогда не улыбалась. И ни разу не приглашала нас зайти, если видела рядом, а если что когда и говорила, так разве лишь что-то вроде: «Я слежу за вами и все вижу, так что держите ваши вороватые пальцы подальше от шоколадок!» Или: «Нечего тут болтаться почем зря! Или раскошеливайтесь, или выметайтесь отсюдова!»

Но куда противнее в миссис Пратчетт была та грязь, которую она разводила повсюду. Передник у нее был серый и засаленный. На кофте там и сям крошки жареного хлеба, и пятна от пролитого чая, и клочки яичной скорлупы, и всякие другие следы и остатки завтрака. Но хуже всего были ее руки и ладони. Черные от грязи и сажи. Словно она этими руками целыми днями таскала глыбы угля. И не забывайте: этими самыми руками и пальцами она лазила в банки со сластями всякий раз, когда мы покупали на пенс паточную палочку, или виноградную жвачку, или ореховую гроздочку, или еще что-нибудь такое.

В те времена законодательство насчет охраны здоровья было слабым, и никому, тем более самой миссис Пратчетт, и в голову не приходило, что есть какие-то совки или лопаточки, вроде тех, которыми загребают сласти нынче. Само зрелище ее перепачканной правой руки, выуживающей из большой

стеклянной банки пальцами с траурной каймой под ногтями горсточку шоколадных подушечек, способно было заставить умирающего с голоду бродягу опрометью бежать из лавки.

Но не нас. Без сластей для нас жизни не было. Ради них мы пошли бы и на много худшее, лишь бы полакомиться. Так что мы просто стояли и молчаливо, напряженно глядели на противную старуху, ковыряющуюся в стеклянных банках своими грязно-вонючими пальцами.

Еще мы ненавидели миссис Пратчетт за мелочность. Потрать у нее целых шесть пенсов в один присест, и все равно она и не подумает сложить покупки в пакет или хотя бы завернуть их в специальную бумагу. Вместо этого она заворачивала все сласти в клочок газетной бумаги, который она отрывала от старого номера «Дейли Миррор». Кипа таких же старых газет лежала на прилавке.

Так что вам легко понять, какие сильные чувства мы питали к миссис Пратчетт, но мы никак не могли додуматься, как их лучше выразить. Столько замыслов предлагалось, но ни один не годился. Ни один, то есть, не пошел в дело, но только до тех пор, пока вдруг, в один хорошо всем памятный день, после школы нам не подвернулась дохлая мышь.

Великий Мышиный Заговор

Впятером, я и четверо моих друзей, мы наткнулись на шатающуюся доску в полу у задней стены нашей классной комнаты, а когда мы попытались ее вскрыть при помощи перочинного ножа, оказалось, что под нею есть довольно-таки просторная выемка. Тут, решили мы, будет наш тайник, чтобы прятать сласти и прочие наши сокровища вроде швырялок, земляных орехов и птичьих яиц. Каждый день, после последнего урока, мы дожидались, пока класс опустеет, а потом поднимали доску и проверяли свой тайник, иногда что-то помещая туда, другой раз что-то из него забирая.

Однажды, подняв доску, мы увидали среди наших сокровищ дохлую мышь. Это было волнующее открытие.

Твейтс взял ее за хвост и помахал перед нашими физиономиями.

— И что мы с нею сделаем? — прокричал он.

— Она воняет! — заголосил кто-то. — Выкинь ее скорее в окошко!

— Погодите, — сказал я. — Не надо ее выкидывать.

Твейтс заколебался. Все глядели на меня.

Коль уж пишешь про себя, то надо обходиться без вранья. Правда куда важнее скромности. А потому признаюсь, что это я и только я додумался до замысла великого и дерзкого Мышиного Заговора. У всех нас случаются мгновения блистательности и славы, и это был мой великий час.

— Почему бы нам, — сказал я, — не положить ее в одну из тех стеклянных банок, в которых миссис Пратчетт держит сласти? Тогда, сунув туда свою грязную лапу, она вытащит не пригоршню конфет, а вонючую дохлую мышь.

Остальные четверо изумленно уставились на меня. Потом, по мере того как идея заговора понемногу доходила до них, они заухмылялись. И стали хлопать меня по плечу. Славили меня и плясали по всему классу.

— Сделаем это сегодня же! — кричал они. — По дороге домой! Раз ты до этого додумался, — сказали они мне, — то тебе и закидывать мышку в кувшин.

Твейтс протянул мне мышиный трупик, и я сунул его себе в карман брюк. Потом мы впятером вышли из школы, миновали деревенский луг и направились к кондитерской.

Взвинчены мы были страшно. Мы ощущали себя бандой головорезов, собравшихся ограбить поезд или разнести в пух и прах ментовку шерифа.

— Попробуй сунуть мышку в тот кувшин, куда она чаще всего лазает, — сказал кто-то.

— Я запихаю ее в кувшин с пустокляпами, — сказал я. — Она никогда не убирает его за прилавок.

— У меня есть пенс, — сказал Твейтс, — так что я попрошу у нее одну шербетную сосалку и один лакричный шнурок. А когда она отвернется и станет доставать их, ты быстренько засунешь мышь в банку с пустокляпами.

Вот так все и устроилось. Входя в лавку, мы слегка важничали. Как же, мы чувствовали себя победителями, а миссис Пратчетт была жертвой. Она стояла за прилавком, и ее злобные свиные глазенки подозрительно глядели на то, как мы вступаем в ее владения.

— Одну шербетную сосалку, пожалуйста, — сказал Твейтс, протягивая ей монету.

Я держался позади всех, а когда увидел, что миссис Пратчетт отвернулась на пару секунд, чтобы достать шербетную сосалку, поднял тяжелую стеклянную крышку банки с пустокляпами и сунул туда дохлую мышь. Потом так неслышно, как только мог, вернул крышку на место. Сердце мое колотилось как сумасшедшее, а ладони мгновенно вспотели.

— И один шнурок, пожалуйста, — донесся до меня голос Твейтса. Развернувшись, я увидал, что миссис Пратчетт держит в своих грязных пальцах один лакричный шнурок.

— И нечего тут всей оравой вваливаться, ходят тут толпами, а если и найдется покупатель, так разве только один, — заскрежетала она на нас. — Пошли, пошли отсюда! Выметайтесь поживее! Вон!

Оказавшись на улице, мы пустились наутек.

— Сделал? — кричали мне приятели.

— А то как же! — сказал я.

— Ну ты молодец! — вопили мои приятели. — Надо же такое устроить!

Я чувствовал себя героем. Да я и был героем. До чего же приятно чувствовать, что тебя так любят.

Мистер Кумбз

Упоение триумфом с дохлой мышью продолжалось до следующего утра, когда мы все опять собрались, чтобы вместе дойти до школы.

— Пошли, глянем, может, она все еще в кувшине, — сказал кто-то, когда мы подходили к кондитерской.

— Нельзя, — твердо сказал Твейтс. — Слишком опасно. Пройдем мимо как ни в чем не бывало, будто ничего не произошло.

Поравнявшись с лавкой, мы увидали на двери картонку, на которой было написано:

«ЗАКРЫТО».

Мы остановились и уставились на эту табличку. Слыханное ли дело, чтобы кондитерская была закрыта в такой час.

— Что стряслось? — спрашивали мы друг у друга. — Что творится?

Мы прижимались лицами к окну и заглядывали внутрь. Миссис Пратчетт нигде не было видно.

— Глядите! — закричал я. — Банка с пустокляпами пропала! Нету ее на полке! Там, где она всегда стояла, пустое место!

— На полу она! — сказал кто-то. — Разбилась вдребезги, и пустокляпы везде валяются!

— Это все мышь! — крикнул еще кто-то.

И тут перед нашими глазами явилась вся картина: осколки огромной стеклянной банки с дохлой мышью и сотни разноцветных пустокляпов, рассыпавшихся по всему полу.

— Она до того перепугалась, когда схватила мышку, что все вывалилось у нее из рук, — сказал кто-то.

— А почему же она не подмела все это и не открыла лавку? — спросил я.

Никто мне не ответил.

Мы развернулись и побрели к школе. У всех нас вдруг появилось какое-то ощущение легкого неудобства. Как-то неуютно стало. Что-то не очень правильное было в том, что кондитерская оказалась закрытой. Даже Твейтс не был в состоянии предложить разумное объяснение. Мы умолкли. В воздухе почувствовалось слабое, но все же распознаваемое дуновение опасности. И мы все его ощутили. В ушах наших слабым отзвуком зазвучали колокола тревоги.

Через какое-то время Твейтс нарушил тишину.

— Она, наверно, сильно струхнула, — сказал он. И замолчал.

Все мы глазели на него в готовности изумиться очередной мудрости великого медицинского авторитета, которая должна была с минуты на минуту явить себя миру.

— Как бы то ни было, — продолжил он свою речь, — а схватить дохлую мышь, рассчитывая взять пригоршню пустокляпов, это, наверное, достаточно сильное переживание. Согласны?

Никто ему не ответил.

— Так вот, — продолжал он, — если старый человек, наподобие миссис Пратчетт, внезапно испытает очень сильное потрясение, то, думаю, вам известно, что затем случается?

— Что? — сказали мы. — Что случается?

— У отца моего спросите, — сказал Твейтс. — Он вам расскажет.

— Ты скажи.

— У такого человека случается сердечный приступ, — объявил Твейтс. — Ее сердце перестало биться, и через пять секунд она умерла.

На мгновение, а то и два мое собственное сердце перестало биться. Твейтс ткнул указательным пальцем в меня и мрачно сказал: — Я думаю, что ты ее убил.

— Я? — закричал я. — Почему только один я?

— Ты это придумал, — сказал он. — И потом, это ты закинул мышку вовнутрь.

Нежданно-негаданно я вдруг оказался убийцей.

Как раз в это самое время мы услыхали далекий звук школьного звонка, и оставшийся отрезок пути нам пришлось преодолевать бегом, иначе мы опоздали бы на молитвы.

Молились мы в Зале Собраний. Мы все рассаживались на деревянных скамейках, которые стояли в несколько рядов, а учителя восседали лицом к нам в креслах, находившихся на возвышении. Наша пятерка успела юркнуть на свои места как раз вовремя — директор школы уже шествовал к возвышению, на котором стояли кресла, а за ним двигались другие учителя и прочий персонал школы.

Этот директор — единственный учитель Соборной школы в Лландаффе, которого я могу вспомнить, и вы скоро узнаете, почему я помню его очень отчетливо. Имя ему было — мистер Кумбз, и в моей памяти хранится картинка крупного человека, этакого великана, с физиономией, похожей на кусок ветчины, и копной ржавых, спутанных в колтун волос на макушке.

Все взрослые видятся маленьким детям гигантами. Но школьные директора (и полицейские) — самые громадные

великаны, они куда больше всех прочих. Вполне возможно, что на самом деле мистер Кумбз был совершенно обычным существом, но в моей памяти он — огромный великан.

Мистер Кумбз как раз продвигался к возвышению, чтобы промямлить старинные молитвы, которые у нас бывали каждый день, но сегодня утром, после того как прозвучало последнее «Аминь», он не развернулся, как обычно, и не стал стремительно уводить свою свиту. Он остался и по-прежнему стоял перед нами, и было понятно, что он сейчас что-то объявит.

— Вся школа немедленно выходит на спортплощадку и становится там строем, — сказал он. — Книги с собой не брать. И не разговаривать.

Вид у мистера Кумбза был похоронный. Его розовое, как ветчина, лицо так угрожающе нахмурилось, как это бывало только тогда, когда он доходил до предела раздражительности и кто-нибудь очень уж напрашивался на его директорское внимание. Я сидел там, маленький и перепуганный, и мне директор, в его черном, ниспадающем с плеч одеянии, представлялся судьей на процессе об убийстве.

— Это он убийцу искать будет, — прошептал мне Твейтс.

Меня стала бить дрожь.

— Спорим, полиция сюда уже приехала, — не унимался Твейтс. — И черная маруся, ну, полицейский воронок, значит, дожидается.

Когда мы вышли на спортплощадку, все мое нутро забунтовало, будто живот мой мало-помалу заполнялся бурлящей водой. «Мне только восемь лет, — сказал я себе. — Никакому восьмилетнему мальчику не под силу убить кого бы то ни было. Так не бывает».

За порядком на спортплощадке следил заместитель директора. Он командовал:

— Строиться по классам! Шестой класс! Пятый класс рядом с шестым! В шеренгу становись! В шеренгу! Разговорчики в строю! Прекратить разговоры!

Твейтс, я и три других моих друга учились во втором классе, младше нас были только первоклассники, и мы построились вдоль краснокирпичной стены, встав плечом к плечу. Помню, когда сюда явились все мальчики, учившиеся в нашей школе, их выстроили в каре, то есть вдоль всех четырех сторон площадки, — примерно сотню мальчиков в возрасте от шести до двенадцати лет, в одинаковых серых шортах, серых пиджаках, серых гольфах и черных ботинках.

— Прекратить болтовню! — орал замдиректора. — Полнейшая тишина!

Но чего ради понадобилось выводить всех нас на спортплощадку? Вообще зачем это? — дивился я. И зачем это нужно — так нас выстраивать? Прежде никогда такого не бывало.

Я уже почти готов был увидеть двоих полицейских, которые сейчас выскочат из школы, схватят меня за руки и закуют в наручники.

Из школы на спортплощадку попасть можно было только через одну-единственную дверь. И вот она вдруг распахнулась, и в ней, словно ангел смерти, появился мистер Кумбз, огромный и пухлый в своем твидовом костюме и черном одеянии поверх него, а рядом с ним, поверите ли, прямо возле него мелко подергивалась невзрачная фигурка самой миссис Пратчетт!

Значит, она была жива! Какое огромное облегчение.

— Она жива! — прошептал я стоящему рядом со мной Твейтсу. — Я ее не убил!

Твейтс не обращал на меня внимания.

— Начнем отсюда, — говорил директор миссис Пратчетт. Он схватил ее за руку и подвел к тому месту, где стоял шестой класс. Потом, так и не отпуская ее, быстро повел вдоль мальчишеской шеренги. Похоже было, будто какой-то генерал обходит воинский строй.

— Что это они делают? — прошептал я.

Твейтс не отвечал.

Я искоса глянул на него. Он вроде побледнел.

— Эти большие, — услыхал я слова миссис Пратчетт. — Совсем большие. Нет, не из этого ряда. Давайте-ка проверим тех, что посопливее.

Мистер Кумбз прибавил шагу.

— Давайте все же пройдем по всему кругу, — сказал он.

Казалось, он спешит поскорее избавиться от этой новой заботы, и мне было видно, как семенят костлявые козьи ножки миссис Пратчетт, стараясь угнаться за ним. Они уже миновали одну сторону прямоугольной игровой площадки — ту, вдоль которой выстроились шестой и пятый классы, обошли вторую сторону каре… потом третью…

— Все еще чересчур большие, — доносилось до меня карканье миссис Пратчетт. — Те были куда меньше этих! Много меньше! Где у вас стоит противная мелкота?

Они все ближе подходили к нам… Все ближе и ближе.

Вот они уже пошли вдоль четвертой стороны…

Каждый мальчик из нашего класса глядел во все глаза, как Кумбз и Пратчетт движутся вдоль строя в нашем направлении.

— Отвратительная наглая шайка, эти маленькие сорванцы! — слышал я бормотание миссис Пратчетт. — Ввалятся ко мне

гурьбой, и всякий сопляк думает, что может вытворять в моем магазине все, что только ни взбредет в его дурную башку!

Мистер Кумбз никак не откликался на все ее речи.

— Тащат все, если не углядишь, — продолжала она. — Лапают что ни попадя. Маленькие, а руки загребущие, и немытые, и никакого воспитания. Про девочек я не говорю. С девочками у меня хлопот не было, но мальчишки — отвратительные и ужасные!

— Вот те, что поменьше, — сказал мистер Кумбз.

Мне было видно, как свиные глазки миссис Пратчетт старательно обшаривают лицо каждого мальчика, мимо которого она проходила.

И вдруг она издала пронзительный вопль и наставила свой грязный палец прямо на Твейтса.

— Вот он! — верещала она. — Этот из тех! Я его за километры узнала бы, попрыгунчика гадкого!

Все дружно повернули головы и уставились на Твейтса.

— А ч-что я такого сделал? — заикаясь, обратился он к мистеру Кумбзу.

— Молчать, — сказал директор.

Глазки миссис Пратчетт сверкнули и остановились на моем лице. Я потупился, сосредоточенно изучая черный асфальт спортплощадки.

— Тут еще один из тех! Вон тот, там! — Теперь она показывала на меня.

— Вы вполне уверены? — сказал мистер Кумбз.

— А то я не уверена! — закричала она. — Я никогда не забываю ни одной физиономии, тем более такой пронырливой, как вот эта! Он из тех самых, это уж точно! Пятеро их всего было! А где же остальные? Где еще трое?

Остальные трое, как мне было прекрасно известно, стояли вслед за мной.

Лицо миссис Пратчетт источало редкостную злобу, когда она переводила свой взгляд с моего лица на лица стоявших рядом.

— Вот они! — закричала она, протыкая воздух своим указательным пальцем. — Этот… и этот… и этот! Пятеро их было, совершенно точно! Нам больше не надо никого высматривать, директор! Все они тут, паскудные грязные свинята! У вас есть ихние имена, да?

— Мне известны их имена, миссис Пратчетт, — сказал ей Кумбз. — Очень вам признателен.

— А как сильно я вам признательна, директор, — отозвалась она.

И пока мистер Кумбз уводил ее прочь, до нас доносились ее

слова:

— Прямо в кувшине с пустокляпами! Там она была! Вонючая дохлая мышь, которую я никогда не забуду, до конца дней своих!

— Выражаю вам свое глубочайшее сочувствие, — бормотал мистер Кумбз.

— Потрясение, говорите?! — продолжала она. — Ох, как я дотронулась своими пальцами до этой мерзкой мокрой вонючей дохлой мыши… — Ее голос хвостом тянулся за ней, пока мистер Кумбз торопливо уводил ее с площадки.

Месть миссис Пратчетт

Мы вернулись в школу, и вскоре к нам вошел классный руководитель с листком бумаги в руке.

— Нижеперечисленным следует немедленно явиться к директору школы, — сказал он. — Твейтс, Даль… — потом он прочел еще три фамилии, которые я сейчас уже не помню.

Мы, все пятеро, поднялись и вышли из класса. Двигаясь по длинному коридору в сторону внушавшего страх директорского кабинета, мы не разговаривали. Твейтс постучал в дверь.

— Войдите!

Мы втиснулись внутрь. Пахло кожей и табаком. Мистер Кумбз возвышался посередине кабинета, огромный человечище, великан, и в руках у него была длинная желтая трость, загнутая наверху на манер дорожного посоха.

— Вранье ваше я выслушивать не стану, — сказал он. — Мне очень хорошо известно, что это сделали вы и что вы сделали это вместе. Постройтесь-ка вон там, у книжного шкафа.

Мы построились, Твейтс встал первым, а я, почему-то, в самом хвосте. И оказался замыкающим.

— Вы, — сказал директор, показав тростью на Твейтса. — Подойти сюда.

Твейтс очень медленно выдвинулся вперед.

— Нагнуться, — сказал директор.

Твейтс нагнулся.

Мы были как загипнотизированные. Нам, разумеется, было известно, что мальчиков время от времени бьют тростью, но мы никогда не слыхали, чтоб кого бы то ни было заставляли наблюдать это наказание.

— Ниже, мальчик, ниже! — рявкнул мистер Кумбз. — Ладонями до земли!

Твейтс кончиками пальцев дотянулся до ковра.

Мистер Кумбз отступил назад и принял устойчивую позу, расставив ноги на ширину плеч. Я думал о том, до чего же крошечной кажется попа у Твейтса и как же она сейчас напряжена. Мистер Кумбз сосредоточенно вглядывался в ягодицы жертвы. Он поднял трость над плечом, и пока он ее опускал, это сопровождалось громким свистящим звуком, а потом прозвучал треск, словно пистолет выстрелил, и это означало, что трость врезалась в маленький зад Твейтса.

Твейтс взлетел в воздух чуть не на полметра над полом, завопил: *Оу-у-у-у-у-у-у-у-у!* — и распрямился, как пружина.

— Крепче! — проскрежетал голос откуда-то из угла.

Теперь настал наш черед подскакивать. Мы обернулись — в одном из больших кожаных кресел директора сидела крохотная омерзительная фигурка, миссис Пратчетт! Она не могла усидеть на месте и подпрыгивала от возбуждения.

— Дайте ему! — визжала она. — Всыпьте ему как следует! Проучите его хорошенько!

— Прекратить, мальчик! — приказал мистер Кумбз все еще вопящему Твейтсу. — И встать, как положено! Тот, кто выпрямляется, получает дополнительный удар!

— Это он поймет! — причитала миссис Пратчетт. — Только так до него и доходит!

Я с трудом верил в происходящее на моих глазах. Ужасная, отвратительная сцена. Насилие само по себе достаточно дурно, делать из него зрелище — еще хуже, но присутствие среди зрителей карги Пратчетт превращало все происходящее в кошмар и дурной сон.

Шшшшуу-трах! — обрушивалась трость.

— *Оу-у-у-у-у-у!* — выл Твейтс.

— Крепче! — визжала миссис Пратчетт.

Твейтс получил четыре удара, и, чтоб уж совсем скверно было, все четыре со всего размаха.

— Следующий! — рявкнул мистер Кумбз.

Твейтс заковылял на цыпочках, поддерживая ягодицы обеими ладонями и подвывая: «Ой! Ох! Ох! Ох! Ооууу!»

Нехотя, еле-еле, едва пересиливая себя, следующий мальчик двинулся навстречу своей участи. А я остался, хотя мне страшно не хотелось теперь быть последним в этой очереди. Наблюдать за наказанием и ожидать таких же мучений — пытка, быть может, похуже самого наказания.

Дошел, наконец, черед и до меня. Пока я добирался до своего эшафота, душа моя трепетала и уходила в пятки, а перед глазами все расплывалось и затягивалось дымкой. Помнится, как мне хотелось, чтобы вдруг на пороге появилась моя мать с криком: «Прекратите! Как вы смеете так поступать с моим сыном!» Но где там! Все, что я слышал, так это мерзкий писклявый голосок миссис Пратчетт, визжавшей откуда-то сзади:

— Этот самый пронырливый из всей их гнусной шайки! Уж постарайтесь, директор! Добрых ему всыпьте, и посильнее!

Мистер Кумбз именно так и сделал. Когда, с треском револьверного выстрела, первый удар приземлился на мои ягодицы, меня швырнуло вперед с такой силой, что, если бы пальцы рук не касались ковра, я врезался бы со всего размаху лицом в пол. Но получилось, что я уперся руками и как-то удержался от падения. Сначала я услыхал только *трах* и совсем

ничего не чувствовал, но уже какую-то долю секунды спустя пылающий укус, растекающийся огнем по ягодицам, оказался таким ужасным, что все, что я мог сделать, это начать хватать воздух ртом и задыхаться. Ощущение было такое, словно на мой зад положили раскаленную докрасна кочергу, да еще потом хорошенько ее придавили.

Второй удар оказался хуже первого. Третий показался еще хуже второго. После четвертого удара все мое тело ниже спины словно горело в огне.

Откуда-то из дальнего далека до меня донеслись слова, произнесенные голосом мистера Кумбза:

— А теперь прочь отсюда.

И пока я ковылял через кабинет, плотно обхватив свои ягодицы обеими ладонями, из кресла в углу сначала прозвучало какое-то кудахтанье, а потом я услыхал гнусный голос миссис Пратчетт: «Я очень благодарна вам, директор, очень признательна. Думаю, что с этих пор мы не увидим больше никаких вонючих мышей в моих пустокляпах».

Когда я вернулся в свой класс, глаза мои были на мокром месте от слез и все глядели на меня. И я с трудом запихал себя за парту — так больно было садиться.

В тот вечер после ужина сначала мылись сестры, а потом я. Когда настала моя очередь и я уже приготовился залезть в ванну, за спиной я услыхал перепуганный крик матери.

— Что это? Что с тобой произошло?

Она уставилась на мой зад. Сам я до этого не видел его, но, вывернув шею так, чтобы разглядеть хоть одну ягодицу, я увидел алые полосы, а между ними темно-синие ссадины.

— Кто это тебя так? — заплакала мать. — Ну-ка рассказывай.

В конце концов я рассказал ей все, что произошло, а три мои сестры (в возрасте девяти, шести и четырех лет), все уже в ночных рубашках, обступили нас и только таращили глаза.

Мать слушала молча. Не задавала никаких вопросов. Она дала мне выговориться, а когда я замолчал, сказала нашей няне:

— Укладывайте их сами, няня. Я ухожу.

Имей я малейшее представление о том, что она собралась делать, я бы попробовал помешать ей, но я ни о чем не догадывался. А она спустилась вниз и надела шляпу. Потом вышла из дому. Я увидел через окно спальни, как она проходит через ворота, и помню, как я звал ее, умоляя вернуться. Но она меня даже не заметила. Она шагала очень быстро, держа высоко голову и с очень прямой спиной, и, судя по всему, для мистера Кумбза наступали не лучшие времена.

Примерно через час мать вернулась и поднялась к нам, чтоб

поцеловать на сон грядущий и пожелать нам доброй ночи.

— По-моему, лучше бы ты этого не делала, — сказал ей я. — Ты ставишь меня в глупое положение.

— Там, откуда я родом, так детишек не бьют, — ответила она. — И я не хочу допускать такое.

— А что тебе сказал мистер Кумбз, мама?

— Он заявил, что я иностранка и мне не понять порядков в британских школах, — сказала она.

— Он тебе грубил?

— Страшно грубил. Заявил, что, если меня не устраивают его методы, я могу забрать тебя из школы.

— А ты что сказала?

— Что так и сделаю, как только учебный год кончится. Я найду для тебя на этот раз *английскую* школу, — сказала она. — Твой отец правду говорил. Английские школы — лучшие в мире.

— Значит, это будет школа-интернат, так? — спросил я.

— Да, так, — ответила она. — У меня еще нет возможности перебраться в Англию со всей семьей.

Так что я оставался в Соборной школе до конца последней четверти.

Едем в Норвегию

Летние каникулы! Какие волшебные слова! От одного их произнесения меня, как правило, пробирает радостная дрожь.

Все мои летние месяцы, начиная с четырех лет и до семнадцати, то есть с 1920 по 1932 годы, помнятся мне одной сплошной идиллией. Это, наверное, потому, что мы всегда отправлялись на лето в одно и то же место, и местом этим была Норвегия.

За исключением моих сводных сестры и брата, все прочие из нас были чистейшими норвежцами по крови. Все мы разговаривали по-норвежски, и вся наша родня обитала в Норвегии. Так что в каком-то смысле ежегодное летнее путешествие в Норвегию походило на поездку на родину.

И все же это путешествие было незаурядным событием. Не стоит забывать, что в те времена не было пассажирской авиации, так что нам приходилось тратить четверо полных суток на дорогу туда и еще столько же на обратный путь.

И путешествовали мы всегда огромной толпой. Три родных моих сестры плюс моя взрослая сводная сестра (уже четверо), и сводный брат со мной (шестеро), и мать (семь), и няня (восемь), и вдобавок обычно еще минимум две подруги моей сводной сестры (итого — десять человек).

Оглядываясь сегодня назад, я не могу понять, как моя мать справлялась со всем этим?! Все эти заказы железнодорожных билетов и билетов на пароход, и мест в гостинице — надо было разослать письма и дождаться, пока по почте придет ответ. Она должна была убедиться, что на всех хватит шортов, и рубашек, и свитеров, и тапочек, и купальных костюмов (на острове, на который мы собирались, даже ботиночного шнурка не купишь) — сборы в дорогу, должно быть, превращались в кошмар. Тщательно упаковывались шесть огромных дорожных сундуков и бесчисленное количество чемоданов, и когда наступал день великого отбытия, мы вдесятером, вместе с горой багажа, делали первый и самый легкий шаг в нашем путешествии, усаживаясь на поезд до Лондона.

По прибытии в Лондон мы набивались в три автомобиля и тряслись в этих такси до вокзала Кингз-Кросс, где садились на поезд до Ньюкасла, и ехали триста километров на север. На дорогу до Ньюкасла уходило около пяти часов, а когда мы добирались до места, нам опять нужны были три такси, чтобы доехать до портового причала, где нас ожидал пароход. После этого следующая остановка была в Осло, столице Норвегии.

Во времена моей юности столица Норвегии не называлась Осло. Она называлась Христиания. Но потом норвежцы решились расстаться с этим красивым названием и стали называть свою столицу Осло. Детьми мы всегда точно знали, что это — Христиания, но если я буду так называть этот город, мы можем запутаться, так что уж лучше я стану писать «Осло».

Морское путешествие из Ньюкасла в Осло занимало два дня и одну ночь, и если море было неспокойным — а так часто бывало, — то все мы мучились морской болезнью, за исключением нашей неустрашимой матери. Мы обычно лежали в шезлонгах на прогулочной палубе, поближе к поручням, напоминая обмотанные тряпьем мумии с бескровными лицами и судорожно сокращающимися желудками, и отказывались от горячего супа и всякой корабельной выпечки, то и дело предлагавшихся услужливым стюардом. Что же до бедной нянюшки, то она заболевала сразу же, только ступив на палубу.

— Как же я это все ненавижу! — обычно говаривала она. — Да и доберемся ли мы туда? По-моему, никогда! Потонет она, штука эта, и шлюпок никаких для нас не будет, и не спасемся никак. — После этого она предпочитала удаляться в свою каюту, чтобы причитать и трепетать и не выходить оттуда до тех пор, пока корабль не окажется в гавани Осло надежно причаленным к набережной.

Мы всегда задерживались на ночь в Осло, так что появлялась возможность очередного ежегодного великого воссоединения семейства, то есть встречи с бабушкой и дедушкой, родителями нашей матери, и ее двумя незамужними сестрами (нашими тетками), жившими в том же доме.

Сойдя с корабля, все мы ехали в нескольких такси в «Гранд-отель», чтобы переночевать и оставить багаж. Потом такси доставляли нас в дом наших дедушки и бабушки, где нас ожидал весьма трогательный прием. Всех нас многократно обнимали и целовали, и слезы ручьем струились по морщинистым щекам, и внезапно тихий скучноватый дом оживал, наполняясь голосами множества детей.

Еще тогда, когда я впервые увидал ее, бабушка выглядела ужасно древней. Она была как белоголовая старая птичка со сморщенным личиком, которая, казалось, всегда сидит в своем кресле-качалке, раскачиваясь и благосклонно взирая на этот бурный прилив своих внуков, добиравшихся до нее много-много километров, чтобы захватить на несколько часов ее дом, как это происходило каждый год.

И дедушка был тихий-тихий, и тоже небольшого роста. Он был крошечным почтенным ученым мужем, с белой козлиной

бородой, и, насколько я помню, он был астролог, метеоролог и умел говорить по-древнегречески. Как и бабушка, большую часть времени он тихо сидел в кресле, мало говорил и был совершенно подавлен зрелищем налетевшего наглого сброда, разрушающего его опрятный и чистый дом.

Еще две вещи я помню про дедушку: он носил черные туфли и курил необычную трубку. Чаша трубки была сделана из морской пенки, и у нее был гибкий чубук примерно в метр длиной, так что, когда мундштук трубки был у него во рту, чаша покоилась у него на коленях.

Все взрослые, включая няню, и все дети, даже если самому маленькому от роду был всего годик, рассаживались — ради великого ежегодного торжественного празднования — за большим овальным столом в столовой, вместе с бабушкой и дедушкой, и еда, которую нам давали, всегда была одной и той же — рыба. И только свежая рыба, то есть такая, которую поймали не раньше, чем за двадцать четыре часа до еды и которую никогда не замораживали. Самое правильное, что можно сделать с такой рыбой, — это отваривать ее на пару, и именно так там поступали с рыбой самых ценных пород. И норвежцы, кстати, всегда съедают кожу вареной рыбы, которая, по их словам, вкуснее всего.

Так что этот великий торжественный праздник, естественно, начинался с рыбы. Могучая рыбина, камбала или другая плоская рыба, размером с большой чайный поднос и толщиной с руку взрослого человека ставилась на стол. У нее была почти черная кожа наверху, испещренная блестящими оранжевыми пятнышками, и она, разумеется, была превосходно отварена. Из нее вырезали огромные белые ломти, которые раскладывали по тарелкам, и к ней подавали голландский соус и отварную молодую картошку. И больше ничего. И, ей-богу, это была настоящая роскошь.

Как только остатки рыбы убирались прочь, вносили огромную крутую гору домашнего мороженого. Не говоря уже о том, что это было самое сливочное мороженое из всех сливочных мороженых на свете, еще и аромат оно издавало незабываемый. Оно было утыкано тысячами крошек хрустящих обжаренных крокетов из мелассы; и оно не просто таяло во рту, как всякое мороженое, — его надо было жевать, и оно при этом потрескивало на зубах; а вкус был такой, что оно снилось во сне и являлось в мечтах даже долгое время спустя.

Это великое празднество прерывалось коротенькой приветственной речью дедушки, и взрослые поднимали бокалы с вином и говорили «сколь!».

После еды взрослым давали по рюмочке домашнего ликера — бесцветного, но свирепого напитка, пахнувшего тутовыми ягодами. Рюмки возносились ввысь вновь и вновь, и казалось, кличам «сколь!» не будет конца.

В Норвегии можно выбрать любого человека из числа тех, с кем вы вместе сидите за столом, и сказать ему или ей «сколь!». Сначала вы высоко поднимаете ваш бокал или рюмку и обращаетесь к этому человеку по имени: «Астри! Сколь, Астри!» Она тогда поднимает свой бокал и держит его высоко поднятым. В это самое время ваши глаза встречаются с ее глазами, и вы обязаны глядеть прямо в ее глаза, пока делаете глоток из бокала. После того, как вы вдвоем отхлебнули из своих бокалов, вы вновь высоко поднимаете их, и лишь после этого вам дозволяется отвести глаза и поставить свой бокал на стол.

Это серьезный и торжественный обряд, и, как правило, все сидящие за столом обмениваются таким приветствием с каждым из присутствующих. Если, скажем, собралось десять человек и вы в их числе, то вам надо сказать «сколь!» девяти остальным, причем каждому отдельно, а в ответ вам скажут «сколь!» девять раз, все это в разные моменты застолья — итого: восемнадцать. Вот как трудятся там в благовоспитанном обществе; по крайней мере, так прежде, в старину, полагалось, и это считалось важным делом. После того, как мне исполнилось десять лет, меня допустили к участию в подобных церемониях, и я всегда вставал из-за стола с хмельной головой, словно лорд какой.

Волшебный остров

На следующее утро все поднимались очень рано и со страстным желанием продолжать путешествие. Предстоял еще один полный день дороги, чтобы добраться до нашего конечного пункта назначения — и по большей части морем. Так что после торопливо проглоченного завтрака наша группа покидала «Гранд-отель» в очередных трех таксомоторах и направлялась к порту Осло. Там мы погружались на пароходик, ходивший только близ берега, а от нянюшки слышали такое предсказание: «Он наверняка протекает! Все мы еще до вечера отправимся на корм рыбам!» После чего она спускалась вниз и пропадала из виду до конца поездки.

Нам очень нравился этот этап путешествия. Замечательное суденышко, из которого одиноко торчала высокая труба, двигалось по спокойным водам фьорда, перемещаясь в неспешном прогулочном темпе вдоль берега и останавливаясь чуть ли не каждый час, а то и чаще, у какого-нибудь дощатого причала, где его поджидало несколько человек, которые встречали прибывших в гости друзей или забирали посылки и почту.

До тех пор, пока вы сами не пропутешествуете по Ослофьорду в тихий летний день, вы вряд ли сможете представить себе, на что это бывает похоже. Невозможно описать чувство совершеннейшего мира и покоя и полнейшую красоту вокруг. Кораблик снует туда и сюда, словно по вьющейся между крошечными островками тропинке, на некоторых островках виднеются пестрые, окрашенные яркими красками деревянные домики, но на других не видно не то что дома, но даже дерева.

Эти гранитные скалы такие гладкие, что, если хочется позагорать, можешь смело ложиться прямо на камень, в одном купальном костюме, и даже полотенце подкладывать не обязательно. Мы видели немало длинноногих девушек и высоких юношей, поджаривавшихся на гранитных скалах этих островков.

Песчаных пляжей во всем фьорде нет совсем. Скалистые берега отвесно уходят в море, и около такого обрывистого берега сразу очень глубоко. В итоге норвежские дети непременно учатся плавать в очень нежном возрасте, потому что если не умеешь плавать, то вряд ли отыщешь место, где можно искупаться.

Иногда, когда наше суденышко протискивалось между двумя островками, пролив бывал настолько узок, что, казалось, можно дотянуться сразу до обоих скалистых берегов. Мы проплывали

мимо лодок и челнов, в которых сидели дети с льняными волосами и кожей, коричневой от солнца, и им можно было махать руками и глядеть, как их утлые посудинки вдруг начинают кувыркаться, попадая на волну, поднятую нашим большим кораблем.

Позже, ближе к вечеру, мы наконец достигали цели всего путешествия — острова Хьёме. Именно туда всегда привозила нас мать. Одному небу ведомо, как она на этот остров набрела, но для нас самое лучшее место на всей земле было тут. Метрах в двухстах от пристани возле узкой пыльной дороги стояла простенькая гостиница — деревянный дом, выкрашенный белой краской. Хозяйничала там престарелая пара, и я до сих пор живо помню лица обоих; и каждый год они встречали нас как старых друзей.

Все в этой гостинице было устроено проще некуда, за исключением столовой. Стены, потолки и полы наших спален были сделаны из струганых и даже не покрытых лаком сосновых досок. Имелся умывальник и к нему кувшин холодной воды. Уборная представляла собой шаткое деревянное сооружение, вроде скворечника, на задворках гостиницы, а в каждом отсеке не было ничего, кроме отверстия, вырезанного в доске. Садишься над этой дырой, и все, что из тебя вываливается, падает в яму глубиной метра в три. А глянешь вниз, в эту дыру, и нередко замечаешь крыс, снующих в полумраке. Все это мы принимали не задумываясь, как само собой разумеющееся.

Лучше всего кормили в гостинице за завтраком, и весь этот завтрак выставлялся на огромном столе посреди столовой, и надо было подходить к этому столу и самому выбирать, что тебе по вкусу. На столе было, наверное, пятьдесят разных блюд. Еще стояли большие кувшины с молоком, которое норвежские дети пьют всякий раз, когда садятся за стол. Стояли тарелки с холодной говядиной, телятиной и свининой. Предлагалось заливное из холодной скумбрии. И еще филе селедки с пряностями и под маринадом, сардины, копченые угри и икра трески. Стояла огромная бадья, с верхом наполненная горячими вареными яйцами. Были холодные омлеты с рубленой ветчиной, и холодная курица, и горячие хрустящие, только что испеченные рогалики, которые мы ели с маслом и клюквенным вареньем. Еще подавали вяленую курагу и компот из урюка и пять или шесть разных сыров, в том числе, разумеется, вездесущий йетуст, тот самый очень рыжий и немного сладковатый норвежский козий сыр, который увидишь на каждом столе в этой стране.

После завтрака мы брали купальные принадлежности и всей толпой, вдесятером, запихивались в нашу лодку.

В Норвегии у каждого есть хоть какая-нибудь лодка. Никто там не рассиживается в саду перед гостиницей. И на пляже никто не сидит, потому что просто нету пляжей, чтобы там сидеть. Поначалу у нас была только лодка с веслами, но какая же она была замечательная. Все мы в ней прекрасно помещались, да еще имелись места для пары гребцов. Моя мать бралась за одну пару весел, мой уже взрослый сводный брат — за другую, и мы отваливали от берега.

Мать и сводный брат (ему тогда было около восемнадцати) грести умели мастерски. Они точно выдерживали темп, и только весла постукивали *клик-клак, клик-клак* в уключинах, причем гребцы не позволяли себе ни единой передышки по ходу долгого, сорокаминутного плавания. А мы, то есть все прочие, просто сидели в лодке, окуная пальцы в чистую прозрачную воду и высматривая медуз. Мы со свистом пролетали через узенькие проливчики, по обоим берегам которых были только скалы, и всегда держали путь к очень потаенной крошечной песчаной заплате, наложенной на далекий островок, — про это место знали только мы. А нам тогда нужно было как раз такое местечко, чтобы поплескаться и поиграть, потому что самой маленькой моей сестренке тогда исполнился только годик, той, что постарше — три года, а мне — четыре. Скалы и глубокая вода нам не годились.

Каждый день, несколько летних сезонов подряд, этот крошечный песчаный пляж на крошечном тайном острове служил нам постоянным пунктом назначения. Мы проводили там по три-четыре часа, копошась в воде и в скалистых лагунах и загорая.

Позднее, несколько лет спустя, когда мы слегка подросли и научились плавать, ежедневное расписание переменилось. К тому времени мать разжилась моторкой, маленькой и не очень пригодной для открытого моря белой дощатой посудиной, которая слишком глубоко уходила в воду, то есть отличалась слишком низкой осадкой, и двигалась благодаря ненадежному одноцилиндровому мотору. Единственным человеком, способным справиться с этим двигателем, был мой сводный брат. Завести движок было немыслимо трудно, и брату всегда приходилось выворачивать свечу и заливать в цилиндр солярку. Потом он раскручивал маховик, и, если немножко везло, вдоволь покашляв и покряхтев, прочихавшаяся штуковина в конце концов начинала работать.

Когда у нас впервые появилась моторная лодка, моей младшей сестренке было четыре года, а мне семь, и все мы уже научились плавать. Теперь мы могли забираться много дальше, и каждый новый день выискивать новый островок. Во фьорде они

исчислялись тысячами, так что было из чего выбирать. Попадались совсем крошечные, в длину метров тридцать, а то и меньше. Другие вытягивались метров на восемьсот. Замечательно, когда есть такой выбор, и было ужасно весело обследовать каждый островок, прежде чем отправиться дальше. Мы натыкались на деревянные остовы разбитых лодок, на некоторых островах находили большие белые кости и дикую малину, и прилепившихся к скалистым берегам мидий, а на некоторых островах паслись косматые козлы с длинной шерстью и даже овцы.

Иногда море становилось вдруг очень суровым, и именно это мать обожала более всего. Никому, даже маленьким детям, не приходило в голову хоть как-то беспокоиться насчет собственной жизни; мы вцеплялись в борта нашей утлой белой моторки, пробивались через гороподобные волны и промокали до костей, пока мать хладнокровно орудовала румпелем. Подчас волна была такой высокой, что, когда мы скатывались по ней вниз, весь мир пропадал из виду. Потом опять и опять наша лодка взбиралась вверх по почти отвесной круче, и тогда мы оказывались как будто на вершине взмыленной горы. Требовалась недюжинная ловкость, чтобы управлять маленькой лодкой в таких морях. Ее запросто могло накрыть с головой или же затопить, стоило только ее носу ткнуться в огромный вздыбленный бурун не под прямым углом, а чуть наискосок. Но моя мать в точности знала, что делать и как, и нам никогда не было страшно, мы обожали каждую минуту такого приключения. Все, кроме нашей многострадальной няни, которая только прятала лицо в ладони и в голос взывала к Господу, умоляя Его спасти ее душу.

Под вечер, когда начинало смеркаться, мы почти всегда отправлялись на рыбалку. Собирали медуз на скалах, для наживки, а потом садились либо в весельную лодку, либо в моторку, и уходили в море, чтобы встать на якорь в каком-нибудь приглянувшемся местечке. Повсюду было очень глубоко, и иногда нам приходилось отматывать метров шестьдесят каната, пока, наконец, якорь не упирался в дно. Мы сидели, притихшие и напряженные, и дожидались, пока клюнет, и меня всегда изумляло, что даже мельчайшее подрагивание такой длинной лески непременно отдается в пальцах всякого, кто за нее держится.

«Клюет! — кричал кто-либо и дергал удилище. — Поймал! А здоровенная какая! Громадина!» И потом дрожь и волнение, и вытягивание лески пядь за пядью, и заглядывание за борт, и вглядывание в прозрачную чистую воду, и старание увидеть, насколько в самом деле велика рыба, в тот момент, когда она

окажется у самой поверхности воды. Треска, мерлан, пикша, скумбрия, мы всякую рыбу ловили, ничем не пренебрегали, и с победоносным торжеством волокли свою добычу на кухню гостиницы, где жизнерадостная толстуха, занимавшаяся стряпней, обещала приготовить эту рыбу нам на ужин.

Да, друзья мои, скажу вам, то были дни!

Поход к доктору

Только одно неприятное воспоминание осталось у меня от летнего отдыха в Норвегии. Как-то, когда мы гостили в доме дедушки и бабушки в Осло, моя мать сказала мне:

— После обеда пойдем к доктору. Пусть посмотрит твой нос и рот.

Наверное, мне тогда было лет восемь.

— А что не так с моим носом и ртом? — спросил я.

— Ничего особенного, — сказала мать. — Но, по-моему, у тебя аденоиды.

— А это еще что такое? — спросил я у нее.

— А ты об этом не беспокойся, — сказала она. — Это ерунда.

Пока мы шли к дому врача, я держал мать за руку. На дорогу ушло около получаса. В кабинете стояло высокое кресло, вроде зубоврачебного, в которое меня и усадили. На лбу у врача было прикреплено круглое зеркальце на ленте, и он пялился мне в рот и ноздри. Потом он отвел мать в сторону, и они стали о чем-то шептаться. Я видел, что мать помрачнела, но все же кивнула.

Теперь врач поставил на газовую горелку алюминиевую кружку с водой, а в кипящую воду опустил какой-то длинный тонкий блестящий стальной инструмент. Я сидел в кресле и смотрел, как над кипящей водой поднимается пар. Ничего особенного я не чувствовал и тем более не предчувствовал. Слишком уж мал я был, чтобы понимать, что надвигается нечто страшное.

Потом вошла медсестра в белом. Она несла фартук из красной резины и искривленную белую эмалированную чашу. Она приставила ко мне фартук спереди и завязала его тесемки у меня на затылке. Потом подставила чашу под мой подбородок. Изгиб по телу чаши в точности совпал с выпуклостью моей грудной клетки.

Врач наклонился надо мной. В ладони он держал тот самый длинный блестящий стальной инструмент. Он держал этот инструмент прямо перед моими глазами, я и сейчас могу во всех подробностях описать его. Толщиной и длиной он походил на карандаш, и, как у карандаша, у него было много граней. К концу он заужался, а на самом кончике тоненького металлического острия было под углом закреплено маленькое лезвие — не более сантиметра в длину, очень маленькое, очень острое и очень блестящее.

— Открой рот, — сказал врач по-норвежски.

Я не захотел. Я подумал, что он собирается сделать что-

нибудь с моими зубами, а все, что когда-либо делали с моими зубами, бывало мучительным.

— Это и пары секунд не займет, — сказал врач. Голос его прозвучал мягко, и я соблазнился, поддался на эту мягкость. И, как последний дурак и осел, разинул свою пасть.

Малюсенькое лезвие блеснуло на ярком свету и пропало у меня во рту. Оно забралось глубоко и дошло до самого моего нёба, а ладонь, державшая стальной карандаш с лезвием, четыре или пять раз быстро-быстро изогнулась, и в следующее мгновение из моего рта в тазик вывалился целый комок окровавленного мяса.

Я был настолько потрясен и до того разозлился, что оставалось только взвыть. Меня ужаснули огромные красные ломти, выпавшие из моего рта в небольшой белый таз, и первым делом я подумал, что врач вырезал всю внутренность из моей головы.

— Бывшие твои аденоиды, — дошли до меня слова доктора.

Я сидел и ловил ртом воздух. Нёбо мое точно горело пламенем. Я схватил ладонь матери и крепко сжал ее. Не верилось, что кто-то может вытворять со мной такое.

— Не шевелись пока, — сказал врач. — Через минуту все пройдет.

Кровь все еще шла изо рта и капала в тазик, который держала сестра.

— Сплюнь. Выплюнь все, — сказала она. — Ну вот, хороший мальчик.

— Теперь тебе будет много легче дышать через нос, — сказал врач.

Медсестра вытерла мне губы и протерла лицо влажной фланелевой салфеткой. Потом меня извлекли из кресла и поставили на ноги. Меня слегка пошатывало, как пьяного.

— Пошли домой, — сказала мать, беря меня за руку. И мы вышли на улицу. И пошли. Пешком. Я повторяю: пешком. Никаких троллейбусов или, там, такси. Мы шли целых полчаса в дом моих бабушки и дедушки, а когда мы наконец пришли, я помню, как бабушка сказала:

— Пусть сядет вон в то кресло и отдохнет чуток. Как-никак, операцию перенес.

Кто-то поставил кресло для меня рядом с бабушкиной качалкой, и я уселся. Бабушка дотянулась до меня и накрыла мою ладошку обеими своими ладонями.

— Не последний раз в жизни ты к доктору сходил, — сказала она. — Хоть бы тебе слегка везло и они не слишком бы тебя мучили.

Случилось это в 1924 году, и удаление аденоидов у ребенка, а нередко еще заодно и миндалин, без наркоза и какой бы то ни было анестезии вообще было тогда в порядке вещей и являлось общепринятой практикой. Поглядел бы я, однако, как бы вы заговорили, вздумай какой-нибудь доктор проделать с вами что-либо подобное в наши дни.

В ШКОЛЕ СВ. ПЕТРА
1925–1929 ГОДЫ
(9–12 ЛЕТ)

Первый день

В сентябре 1925 года, когда мне исполнилось девять лет, я пустился в первое великое приключение своей жизни — отправился в школу-интернат.

Моя мать выбрала для меня начальную школу в той части Англии, которая была как можно ближе к нашему дому в Южном Уэльсе, и школа эта называлась школой св. Петра. Полный почтовый адрес такой: школа Сент-Питерс, г. Уэстон-сюпер-Мэр, графство Сомерсет.

Уэстон-сюпер-Мэр — это слегка захолустный приморский курорт с просторным песчаным пляжем, с огромным длинным волноломом, с пристанью, с бегущей вдоль морского берега прогулочной эспланадой, с беспорядочной россыпью гостиниц и пансионатов и примерно с десятью тысячами лавочек, торгующих ведрами, лопатами, леденцами и мороженым. Городок расположен прямо напротив Кардиффа, на другом берегу Бристольского залива, и в ясный день, стоя на набережной, которая в Уэстоне называется эспланадой, и глядя поверх полосы морской воды шириной километров в двадцать пять, можно разглядеть на горизонте бледно-молочный берег Уэльса.

В те времена легче всего было попасть из Кардиффа в Уэстон-сюпер-Мэр по морю, на корабле. Корабли эти были прекрасны, с огромными гребными колесами на бортах. И как же страшно грохотали эти колеса, шлепая по воде и прогрызаясь сквозь нее.

В первый день моего первого года в новой школе я вместе с матерью выгрузился из такси, чтобы пересесть на колесный пароход, идущий из Кардиффа в Уэстон-сюпер-Мэр. Вся одежда на мне была новой, только что с фабрики, и на каждом предмете значилось мое имя. На мне были черные полуботинки, серые шерстяные чулки с синими отворотами, серые фланелевые шорты, серая рубашка, красный галстук, серый блейзер с синим гребешком школьной эмблемы на нагрудном кармане и серая школьная фуражка с такой же эмблемой над самым околышем. В такси, доставившем нас в порт, ехали и мой совершенно новенький чемодан, и такой же новенький сундучок, и на обоих черной краской было выведено: *Р. ДАЛЬ.*

Сундучок, сколоченный из сосновых досок, был очень прочным и очень надежным, и не было мальчика, который учился в любой английской закрытой школе и обходился без такого сундука. Он служит школьнику тайником, и содержимое этого тайника столь же недоступно для посторонних, как содержимое любой дамской сумочки, и по неписаному закону никакой другой

школьник, никакой учитель и даже директор не вправе посягать на содержимое вашего сундука, и ключ есть только у хозяина. В школе св. Петра сундуки выставлялись бок о бок вдоль всех четырех стен комнаты для переодевания, и ваш личный сундук стоял под крючком, на который вы вешали свои вещи, когда переодевались для спортивных игр или после них. Считалось, что этот сундук — ящик, в который вы прячете свои сласти.

В начальную школу в те времена раз в неделю приходили посылки — сердобольные мамаши тревожились о своих маленьких прожорливых сыночках, и в каждом сундуке почти всегда хранилась половинка домашнего смородинового пирога, помятая пачка печенья, пара апельсинов, яблоко, банан, баночка земляничного варенья или джема, плитка шоколада, пакет лакричной карамели со всякими наполнителями и т. п.

Английская школа того времени считалась — и была — предприятием для получения прибыли, как любой другой бизнес, а владел такой школой и по праву владения хозяйничал в ней ее директор. И понятно, ему хотелось экономить на питании учеников, и, чтобы иметь возможность кормить своих подопечных как можно скуднее, такой директор поощрял продовольственные посылки, — ему было только на руку, что родители сами старательно подкармливают своих чад.

— Так что, уважаемая миссис Даль, посылайте вашему мальчику какие-нибудь мелочи время от времени, — говорил матери директор. — Ну, там, несколько апельсинов и яблок раз на неделе, — а фрукты были очень дорогие! — и пирог со смородиной, большой такой пирог, ведь у маленьких мальчиков такие большие аппетиты, ха-ха-ха… Да, да, и так часто, как только хотите. Можно и почаще, да, да, так часто, как только пожелаете… Конечно же, его тут хорошо и обильно кормят, лучше, чем у нас, не бывает, но ведь ему же хочется домашнего, а в чужом доме все не так, все равно на вкус не то, как дома, правда? Уверен, вы же не захотите, чтобы ваш сынок один из всей школы не получал посылки из родного дома хоть раз в неделю.

Кроме сластей, в сундучок прятали еще и всякие сокровища, вроде магнита, перочинного ножика, компаса, мотка бечевки, заводного автомобильчика, десятка оловянных солдатиков, коробки с волшебными фокусами, горсти каких-нибудь игральных блошек, мексиканских прыгучих бобов, катапульты, нескольких заграничных марок и парочки вонючих бомбочек; и я помню паренька по имени Аркл, просверлившего в крышке своего сундука дырочку для воздуха, потому что у него в сундуке жила любимая лягушка, которую он кормил слизняками.

Как только мы — моя мать, я и мой сундучок — выгрузились,

мы взошли на борт колесного парохода и полетели со свистом через Бристольский залив в ореоле водяных брызг. Все мне в этом путешествии нравилось, но стоило мне сойти на пристань в Уэстоне-сюпер-Мэр и увидеть, как мои чемодан и сундук погрузили в такси, чтобы довезти нас до школы святого Петра, как во мне стали нарастать мрачные предчувствия. У меня не было совершенно никакого представления о том, что мне уготовано. Мне никогда еще не приходилось даже ночевать хотя бы одну ночь вне нашей большой семьи.

Школа стояла на холме, высящемся над городом. Она располагалась в длинном трехэтажном здании, по виду куда более похожем на частную клинику для умалишенных. Перед школьным зданием были видны спортивные площадки с футбольным полем. Треть здания была отведена для директора с его семейством. Все остальное занимали мальчики, общим числом около полутора сотен, если я правильно запомнил.

Как только мы вышли из такси, я увидел, что вся подъездная дорожка заполнена маленькими мальчиками и их родителями, чемоданами и сундучками, и человек, про которого я решил, что это, наверное, директор, проплывал через эту толпу, то и дело обмениваясь рукопожатиями с родителями.

Я уже говорил вам, что *все* школьные директора — великаны, и этот новый не был исключением. Он приблизился к моей матери и встряхнул ее руку, потом взял меня за руку и встряхнул ее, и, совершая это рукопожатие, он одарил меня какой-то сверкающей ухмылкой, наподобие, наверно, того оскала, который показывает акула маленькой рыбке, прежде чем заглотать ее. Спереди один зуб у него, заметил я, был золотым, а волосы его были до того обильно намазаны бриолином, что блестели, как масло.

— Порядок, — сказал он мне. — Идете и докладываетесь экономке. — И проворно бросил в сторону моей матери: — Прощайте, миссис Даль. Я бы на вашем месте тут не задерживался. Мы за ним приглядим.

Мама все поняла, поцеловала меня в щеку, попрощалась и стала протискиваться к такси.

Директор отошел к другой кучке людей, а я остался один возле моих совершенно новенького чемодана и совершенно новенького сундучка. И заплакал.

Письма домой

В школе св. Петра воскресное утро отводилось для написания писем. В девять утра всей школе полагалось сидеть за партами и целый час писать письмо домой своим родителям. В десять пятнадцать мы надевали фуражки и пальто и выстраивались у школы, и потом наш строй, как длинный крокодил, полз километра три до церкви в Уэстон-сюпер-Мэр, и возвращались мы в школу только к ленчу.

Посещение церкви так и не вошло у меня в привычку. А вот писание писем — да.

Вот самое первое письмо, которое я послал домой из школы св. Петра:

> Дорогая мама!
>
> Мне тут очень одиноко.
>
> от Мы тут каждый день играем в футбол. У кара кроватей тут нету пружин. Пришли мне мой альбом с марками, и побольше марок, чтобы я мог меняться. Учителя очень хорошие. У меня вся моя одежда нын теперь, ф и ремень, и, галстук и шшик школьные фенечки.
>
> *Я тебя люблю*
>
> *твой мальчик.*

С того самого первого воскресенья в школе св. Петра и до того дня, тридцать два года спустя, когда моя мать умерла, я писал ей раз в неделю, а иногда и много чаще, всегда, когда оказывался вдали от дома. Я писал ей еженедельно из школы св. Петра (заставляли), и еженедельно из Рептона, школы, в которой я учился потом, и еженедельно из Дар-эс-Салама, что в Восточной Африке, куда я отправился на работу после школы, а потом каждую неделю из Кении, Ирака и Египта, где я служил в военно-воздушных силах.

> Майор Коттам
>
> собирается декламировать нечто, именуемое «как вам это понравится» вечером. Вышли мне, пожалуйста, немного нашлепок на нос, и, если можно, побыстрее, только наде не надо посылать слишком много, их просто положи их в коробочку и оберни ее бумагой.

Мать хранила каждое мое письмо. Она аккуратно складывала их в пачки и перевязывала зеленой тесьмой, но никому про это не говорила. И я ничего не знал.

В 1967 году, зная, что умирает, и зная, что не получит от меня письма (потому что я лежал в больнице в Оксфорде, где мне должны были сделать серьезную операцию на позвоночнике, и писать я не мог), она попросила, чтобы ей в постель принесли телефон. Тогда она поговорила со мной в последний раз. Она не сказала мне, что умирает, вообще ни словом не обмолвилась про это, потому что тогда мое собственное положение было очень тревожным. Она просто спросила про мои дела, сказала, что надеется, что я скоро поправлюсь, передала мне привет и сказала, что любит. У меня и мысли не было, что она умрет назавтра, но она-то про это знала и вот захотела поговорить со мной в последний раз.

Когда я поправился и вернулся домой, мне отдали это огромное собрание моих писем — все аккуратно перевязанные зеленой тесьмой, больше шестисот штук, с датами с 1925 по 1945 год, каждое в своем конверте, со всеми марками и штампами. Так что мне ужасно повезло, ведь мне есть на что ссылаться в старости.

> Дорогая мама!
>
> У меня в школе все нормально. Пожалуйста, пришли мне мою музыкальную книжку и поскорее. Не забудь сказать Смитам прислать «Пузыри».
>
> *Я тебя люблю*
>
> *твой мальчик.*

Писание писем в школе св. Петра было серьезным делом. Ведь мальчик, который писал домой, заодно отрабатывал урок правописания, и вообще этому придавалось большое значение, потому что сам директор в это время патрулировал классы, то и дело из-за спин заглядывая в наши тетрадки: мол, надо же проверить мальчишечью писанину и указать на ошибки. Но, по-моему, ошибки служили только поводом и уж точно не были главной причиной его бдительности. Он не хотел, чтобы кто-то из нас написал какую-нибудь гадость про его школу, вот и старался этого не допустить.

> Учитель мистер Найчелл на уроке вчера вечером про птичек рассказал нам, как совы едят мышек, они едят всю мышку с кожей и всем и всем, а потом вся кожа и

кости идут в такой как бы мешочек на боку совы, и потом она выкидывает это на землю, и эти называются катышки, и он показывал нам картинки некоторые про них, которые он нашел, и про многих всяких разных других птиц.

Поэтому, чтобы пожаловаться родителям, надо было ждать, когда кончится четверть и начнутся каникулы. Если нам казалось, что кормят нас из рук вон скверно, или нам был не по душе какой-нибудь преподаватель, или когда нас наказывали за то, чего мы не делали, мы все равно никогда не отваживались сообщать об этом в своих письмах. Зато часто поступали наоборот. Чтобы ублажить страшного директора, который то и дело заглядывал нам через плечо в тетрадку и, конечно, читал все, что мы сообщали в письмах, мы расписывали школу в самых радужных тонах и очень хвалили учителей.

Этот наш директор был очень даже себе на уме. Он не хотел, чтобы родители подумали, что он занимается цензурой и контролирует наши письма, и потому он не позволял нам исправлять орфографические ошибки в самих письмах.

Если, скажем, я написал: «…мишка боится кошки», — он, заметив это, мог надо мной поиздеваться, но исправить не давал:

— Нет, только не в письме! В рабочей тетради. Письмо пусть так и останется. Не то оно станет еще хуже, чем сейчас. И нечего строить перед своими домашними грамотея, надо сначала научиться писать пограмотнее! Пусть они читают письмо таким, как оно было написано!

Вот таким изощренным образом у ничего не подозревающих родителей создавалось впечатление, что наши письма никогда не читаются, не цензурируются и не исправляются кем бы то ни было из посторонних.

27 января 1928 года

Дорогая мама!

Большое тибе спасибо за пирог и т. п.

Книгу получил позавчера, очень хорошая и выглядит красиво. Как цыплятки? Харашо бы были бы все они живы. Ищо ты говорила, что она никак не…

Экономка

Весь нижний этаж школы занимали классные комнаты. В бельэтаже располагались спальни. На спальном этаже были владения экономки. Тут вся власть принадлежала ей и имел значение только один-единственный — ее — голос, и даже одиннадцати- и двенадцатилетние мальчики страшились этой громадной людоедки, ибо правила она железной рукой.

Экономка была крупной белокурой женщиной с массивной грудью. Вряд ли ей было больше двадцати шести, но какая разница — двадцать шесть или восемьдесят шесть, — потому что для нас большой, то есть взрослый, — это всегда взрослый, а все взрослые в этой школе были опасными существами.

Взобравшись на самую верхнюю ступеньку лестницы и ступив на пол спального этажа, мы оказывались во власти экономки, а источником этой власти служила незримая, но наводящая ужас фигура директора, таящаяся внизу, в недрах директорского кабинета. В любое время, то есть всегда, когда бы ей это ни заблагорассудилось, экономка вольна была своей властью послать нас вниз в одной пижаме и спальном халате на доклад к этому безжалостному великану, и какова бы ни была причина, наказание было неизбежно — ведь на то у него имелась трость. Экономка про то ведала и извлекала из своей должности много удовольствия.

Она могла молнией промелькнуть вдоль коридора, и, как раз тогда, когда меньше всего ожидаешь, ее голова и ее огромная грудь вдруг появлялись в дверном проеме спальни.

— Кто это тут губками расшвырялся? — раздавался ее мерзкий и страшный голос. — Никак это вы, Перкинз? Нечего мне врать, Перкинз! Да он еще спорит, он отпирается! Мне прекрасно известно, чья это работа! Быстро, халат на себя и вниз к директору на доклад, мигом!

Очень медленно и с огромным нежеланием маленький Перкинз, проживший на этом свете восемь с половиной лет, облачался в халат, надевал тапочки и исчезал в длинном коридоре, уходящем к лестнице, которая вела в личные владения директора. А экономка, о чем мы все знали, шла следом, стояла у выхода на лестницу и прислушивалась, и когда очень скоро в лестничном колодце гулко раздавалось *трах… трах… трах*, на ее лице появлялось диковинное выражение. Мне при этих звуках удара трости о человеческое тело всегда казалось, что директор разряжает пистолет в потолок своего кабинета.

Оглядываясь теперь назад, я понимаю: экономка, конечно же,

очень не любила маленьких мальчиков. Она никогда не улыбалась нам и не говорила с нами ласково.

Однажды, еще в первый год в школе, я вошел в комнату экономки, чтобы попросить йоду, потому что у меня была ссадина на колене, и я не знал, что положено стучаться, испрашивая разрешения войти. Я открыл дверь, вошел в комнату и обнаружил там экономку в объятиях нашего учителя латыни, мистера Виктора Коррадо.

Они разлетелись в разные стороны, как только я вошел, и их лица сразу же побагровели.

— Как вы посмели войти без стука! — заорала экономка. — Я как раз вынимала соринку, попавшую в глаз мистера Коррадо, а он тут вламывается и разрушает такую тонкую и ответственную операцию!

— Простите, пожалуйста.

— Идите прочь, а через пять минут вернетесь! — закричала она, и я пулей вылетел из комнаты.

После того как гасили свет, экономка кралась по коридору, как пантера, стараясь услыхать через дверь спальни чей-нибудь шепот, и очень скоро мы убедились, что ее бдительность, слух и прочие способности столь необычайны и поразительны, что для нас лучше и безопаснее соблюдать тишину.

Однажды, после того как погасили свет, отважный мальчик по имени Рагг выскочил на цыпочках из спальни и посыпал линолеум в коридоре сахарным песком. Когда Рагг вернулся и сообщил нам, что весь коридор из конца в конец успешно засахарен, всего меня затрясло от возбуждения. Я лежал во мраке в своей постели и нетерпеливо дожидался, когда же экономка выйдет на охоту. Ничего не происходило. Наверное, подумал я, она у себя, небось, снова вытаскивает соринку из глаза мистера Коррадо.

И вдруг из дальнего конца коридора раздался и отозвался громким эхом оглушительный треск: *хрусь! Хрусь-хрусь-хрусь* — шагал кто-то. Словно какой-то великан шел по гравию.

Потом мы услыхали вдали взбешенный вопль экономки.

— Кто это сделал? — визжала она. — Кто посмел сделать такое?

Она с хрустом шагала по коридору, распахивая двери всех спален и включая повсюду свет.

Как же она разозлилась, и как же страшна была она в гневе.

— Ну-ка! — орала она, с хрустом шагая туда-сюда по коридору. — Подъем! Все выходите! Мне нужно имя маленького пакостника, который рассыпал сахар! Выходите все, немедленно! Признавайтесь!

— Не признавайся! — шептали мы Раггу. — Мы тебя не выдадим!

Рагг молчал. Я не стал бы его винить за это. Сознайся он, и его наверняка ожидала бы злая и жестокая судьба.

Вскоре снизу был вызван директор. Экономка, у которой все еще шел пар из ноздрей, с плачем и воплями просила у него помощи, и вот вся школа столпилась в длинном коридоре, и мы стояли и стыли в одних пижамах и босиком, пока злодею из злодеев предлагалось сделать шаг вперед.

Но из строя никто не выходил.

Было заметно, что директор тоже очень рассердился. Еще бы! Вечер испортили, отдых перебили. По всему лицу у него пошли красные пятна, а когда он говорил, изо рта вылетали капельки слюны.

— Очень хорошо! — громыхал он. — Все вы принесете ключи от своих сундучков! Все ключи сдадите экономке, и они останутся у нее до конца четверти! А все посылки из дому отныне будут конфисковываться! Я не собираюсь терпеть такое безобразное поведение!

Мы сдали ключи и до самого конца четверти, то есть целых шесть недель, ходили очень голодными.

Но все эти шесть недель Аркл продолжал кормить свою лягушку через дырочку в сундуке. Он и поил ее: у него был старый чайник, и каждый день он вливал в эту дырочку воду из чайника, чтобы она оставалась мокрой и счастливой. Я очень зауважал Аркла за такую заботу о своей лягушке. Хотя самого его голодом морили, он не хотел, чтобы она страдала. С тех пор я и сам всегда стараюсь обходиться со зверюшками по-доброму.

В каждой спальне стояло около двадцати кроватей — детские узенькие койки вдоль всех четырех стен.

Посередине спальни стояли умывальники, и мы там мыли руки и лицо и чистили зубы. В умывальниках всегда была только холодная вода, большие кувшины с которой ставились рядом. Стоило только зайти в спальню, и выходить из нее уже не разрешалось, разве только после объяснения экономке, что заболел.

Под каждой кроватью стоял белый ночной горшок, и прежде чем лечь спать, надо было встать на колени и опорожнить свой мочевой пузырь в этот сосуд. По всей спальне, перед тем как выключат свет, раздавалось *дзинь-дзинь* — это маленькие мальчики делали «пи-пи» в свои горшки. И как только лег в постель, то уже нельзя вставать до утра. Конечно, на этаже была уборная, но только очень острый приступ поноса оправдывал ее посещение в неурочное время. Кроме того, такое путешествие в

уборную автоматически переводило вас в категорию жертв поноса, и по этой причине экономка принудительно вливала вам в горло дозу густой белой жидкости. И потом вы неделю мучились запором.

В первую жалкую ночь тоски по дому в школе св. Петра, когда я свернулся калачиком в постели, после того как выключили свет, я не мог думать ни о чем, кроме нашего дома и того, как они там, и мать, и сестры.

Где они? — спрашивал я себя. В каком направлении от того места, где я теперь лежу, находится Лландафф? Я стал думать и соображать, и это оказалось нетрудно, потому что мне на подмогу пришел Бристольский залив. Из окна спальни был виден этот самый залив, а большой город Кардифф, с краю которого пристроился Лландафф, находился на другом берегу залива почти точно напротив, но слегка севернее. Значит, если я повернусь к окну, то окажусь лицом к дому. И я лег лицом к своему дому и к родным.

С того дня все годы, пока я находился в школе св. Петра, я никогда не лежал спиной к своему дому. Кровати и спальни за это время менялись, и всякий раз новое место заставляло меня вновь вычислять направление, но под рукой всегда был Бристольский залив, и он всегда помогал мне сориентироваться и провести воображаемую линию, соединяющую мою кровать и наш дом в Уэльсе. Я засыпал, лишь обратив свой взгляд в сторону родных. И находил в этом большое утешение.

В той спальне, в которой я ночевал во время первой моей четверти в школе, был мальчик по имени Твиди, и он однажды ночью захрапел.

— Кто это тут разговорился? — завопила экономка, врываясь к нам.

Моя койка стояла около двери, и я помню, как глядел на ее силуэт на фоне света, горевшего в коридоре, и думал: какая же она страшная! Больше всего меня в ней пугала ее исполинская грудь. Я не мог оторвать от нее глаз и думал, что она похожа на какой-то таран, вроде железной штуки, которой разбивают камни строители, или на нос ледокола, или, пожалуй, на две огромные бомбы страшной взрывчатой силы.

— Сознавайтесь! — кричала она. — Кто болтает?

Мы лежим себе тихонько. И тут Твиди, заснувший на спине с открытым ртом, снова издал хрюкающий звук.

Экономка уставилась на него.

— Храпеть — отвратительная привычка, — сказала она. — Храпят только представители низших классов. Простонародье. Нам следует преподать ему урок.

Она не стала включать свет, но прошла к умывальникам и взяла кусок мыла с ближайшей раковины. Из коридора светила голая лампочка, и в ее свете можно было разглядеть, что творится в спальне.

Никто из нас не посмел сесть в постели, но все теперь глядели на экономку, гадая, что же она задумала. При ней всегда были ножницы, болтавшиеся на белой ленте, свисавшей у нее с талии, и этими самыми ножницами она стала стругать мыло, собирая стружку себе в кулак. Потом она подошла туда, где на кровати раскинулся злосчастный Твиди, и осторожно запихала все эти мыльные крошки ему в рот, целую пригоршню.

Что же теперь будет? — дивился я. — Неужто Твиди задохнется? Кашлять станет от удушья, так, что ли? Горло совсем перекроется, так? Что, она его убивать собралась?

Экономка отступила на пару шагов и сложила свои руки на — или, точнее, поверх — своей мощной груди.

И ничего не произошло. Твиди как храпел, так и продолжал храпеть.

Потом вдруг он забулькал, и на его губах появились белые пузыри. Пузыри становились все больше и больше, и вот все его лицо как бы укуталось в пузырящуюся пенистую белую мыльную изморозь. Выглядело это ужасно. Потом вдруг как-то сразу Твиди громко чихнул, сплюнул, быстро сел в постели и стал раздирать лицо ногтями.

— Ох! — заикаясь, стонал он. — Ох! Ох! Ох! Ой, не надо! Ч-ч-чт-т-о случилось? Ч-ч-что у меня с лицом? Помогите же!

Экономка швырнула ему фланелевую салфетку и сказала: — Лицо вытереть надо, Твиди. И чтоб я больше этого храпа не слышала. Нечего спать на спине, ясно? Все поняли? Или еще кому-то такой же урок нужен?

С этими словами она зашагала прочь из спальни и с силой захлопнула дверь.

Тоска по дому

Я скучал по дому весь свой первый учебный год в школе св. Петра. Это как болезнь, и болезнь эту иногда называют ностальгией. Это вроде морской болезни. Пока ею не страдаешь, не знаешь, как она ужасна, а когда уж подхватил ее, она бьет тебе прямо под дых и хочется умереть. Единственное утешение как в ностальгии, так и в морской болезни — то, что от обеих мигом поправляешься. Первая сразу же проходит, стоит только выйти за ворота школьного двора, про вторую забываешь, как только корабль входит в портовую гавань.

Я так жутко тосковал по дому в первые две недели школы, что решил изобрести какую-нибудь вескую причину, из-за которой меня отправили бы домой, хотя бы на пару-другую дней.

И додумался до того, чтобы сделать вид, что у меня аппендицит и меня вдруг страшно схватило.

Вам, чего доброго, кажется глупостью, что девятилетний мальчик воображает, что сможет кого-то провести такими незамысловатыми проделками, но у меня были веские основания, чтобы попробовать предпринять нечто в этом духе. Всего месяц тому назад у моей сводной сестры, которая была на двенадцать лет старше меня, в самом деле случился аппендицит, и несколько дней накануне операции я мог наблюдать ее поведение с близкого расстояния и в мельчайших подробностях. Я заметил, что чаще всего она жаловалась на сильную боль в животе внизу справа. А еще ей все время было дурно, она ничего не ела и у нее была высокая температура.

Вам, может быть, будет интересно узнать, что аппендикс у сестры вырезали не в операционной комнате какой-нибудь больницы, где яркий свет и медсестры в халатах, а на столе в детской комнате у нас дома, и оперировали ее местный врач и его нарколог. Обычная практика в те времена: к вам в дом приходил врач с набором медицинских инструментов в чемоданчике, застилал простыней самый подходящий стол и укладывал на него домочадца, нуждавшегося в операции. По этому случаю, помнится, я торчал в коридоре все то время, пока шла операция. Прочие мои сестры тоже старались подглядеть за происходящим, и мы стояли там, как зачарованные, вслушиваясь в негромкое медицинское бормотание, доносящееся из-за плотно закрытой двери, и представляли пациентку, у которой живот разрезан, словно это какой-нибудь кусок говядины. Мы даже чувствовали запах паров эфира, просачивающихся через щель под дверью.

Я еду домой в следующую пятницу 17 декабря, в 1^{36}(один тридцать шесть) поездом, пожалуйста, встретьте меня. Это самое большое письмо, которое я писал вам в этой учебной четверти.

Это мое последнее воскресное письмо.

Назавтра нам позволили посмотреть на сам аппендикс — его поместили в стеклянную бутылочку. Это была такая продолговатая, похожая на червяка, черная штучка, и я сказал:

— И у меня такая внутри, да, няня?

— У каждого есть одна такая, — отвечала няня.

— А зачем?

— Бог так сотворил, и пути его неисповедимы, — сказала она ту самую фразу, которая всегда была у нее наготове как типовой ответ на те вопросы, на которые у нее не было ответа.

— А от чего ему делается плохо? — спросил я у нее.

— От щетинок. Тех, что на зубной щетке, — ответила она, не задумавшись ни на миг.

— Щетинки от зубной щетки? — изумился я. — Как это щетинки от зубной щетки могут сделать плохо аппендиксу?

Нянюшка, наделенная, на мой взгляд, куда большей мудростью, чем царь Соломон, отвечала:

— Всякий раз, когда из твоей зубной щетки выпадает щетинка, а ты ее глотаешь, она застревает у тебя в аппендиксе, и тот начинает гнить. В войну, — продолжала она, — немецкие шпионы то и дело подбрасывали коробки с дрянными зубными щетками в наши магазины, и миллионы британских солдат заболели тогда аппендицитом.

— Честно, няня? — закричал я. — Честно-честная правда?

— Я никогда не обманываю тебя, дитя, — отвечала она. — Так что пусть это будет тебе урок: нельзя пользоваться старой зубной щеткой.

Столько лет прошло с тех пор, а я до сих пор вздрагиваю, если на языке вдруг остается щетинка от зубной щетки.

После завтрака, поднявшись по ступенькам и постучав в дверь, я почти не испытывал ужаса перед экономкой.

— Войдите! — громыхнуло из-за двери.

Я вошел, поддерживая живот рукой с правой стороны и жалостливо спотыкаясь.

— Что случилось? — крикнула экономка, и от силы голоса здоровенная грудь у нее затряслась, как тарелка с муссом.

— Болит, — заныл я. — Ох, как больно! Вот тут!

— А нечего обжираться! — рявкнула она. — Целыми днями

лопать смородиновые пироги, так чего ж ожидать-то?

— Да я уже несколько суток ничего не ел, — соврал я. — Не могу я есть! Просто не могу!

— Лягте на постель и спустите штаны, — велела она.

Я лег на кровать, и она стала больно давить мне живот своими пальцами. Я бдительно следил за ее действиями, и когда она приблизилась к тому месту, где, по моим представлениям, находился аппендикс, я так заорал, что оконные стекла зазвенели.

— Ой! Ой! Ой! — вопил я. — Не надо, пожалуйста, не надо! — Потом я выложил свою козырную карту. — С самого утра мне плохо, — заныл я, — и вроде бы не от чего болеть, а болит.

Это был верный ход. Я увидал, что она заколебалась.

— Не надо пока вставать, — сказала она и быстро вышла из комнаты.

Конечно, она была злобной и вздорной бабищей, но как-никак у нее было медицинское образование — она выучилась на медсестру, — и ей было ни к чему пятно на репутации из-за нераспознанного вовремя и поэтому лопнувшего аппендикса.

Не прошло и часа, как явился врач и проделал те же самые ощупывания и похлопывания, через которые я уже прошел, и я опять вопил и стонал в те самые моменты, которые мне казались подходящими. Потом он поставил мне термометр.

— Гммм, — сказал он. — Температура нормальная. Ну-ка, я еще раз прощупаю живот.

— Ой-ой-ой! — зашелся я, как только он коснулся мне живота внизу справа.

Врач вышел вместе с экономкой. Через полчаса она вернулась и сказала:

— Директор звонил вашей матери, она приедет сегодня вечером и заберет вас.

Я ей не ответил. Я просто лежал, стараясь казаться очень больным, но сердце мое распевало всевозможные чудесные песни радости и счастья.

Домой меня везли через Бристольский залив на колесном пароходе, и мне было так здорово и так чудесно, что я не в этой отвратной школе, что я почти совсем забыл, что надо строить из себя больного. В тот же вечер меня смотрел доктор Данбар в своей хирургической клинике в Кардиффе, и я попытался снова пустить в ход те же уловки. Но доктор Данбар был умнее и опытнее, чем экономка или школьный врач. После того, как он ощупал мой живот, а я воспроизвел все заученные уже подобающие вопли и стоны, он сказал мне:

— А теперь оденься и сядь вон в то кресло.

Сам он уселся за письменный стол и задержал на мне проницательный, но вполне дружелюбный взгляд.

— Прикидываешься, а? — сказал он.

— Откуда вы знаете? — ляпнул я.

— Да потому что живот у тебя в совершеннейшем порядке, — ответил он. — Будь у тебя там воспаление, живот стал бы твердым и не растягивался бы. Куда уж проще.

Я молчал.

— По-моему, ты по дому скучаешь, — сказал он.

Я только жалобно кивнул.

— У всех так поначалу, — сказал он. — Надо привыкать жить на чужбине. И не обижайся на мать за то, что она тебя отправила в закрытую школу. Она спорила со мной, говорила, что ты еще маленький, но именно я убедил ее, что откладывать не надо. Жизнь — штука крутая, и чем раньше научишься с нею справляться, тем лучше для тебя.

— А в школу вы что сообщите? — осторожно спросил я.

— Скажу, что у тебя очень серьезное заражение желудка, но я лечу его таблетками, — улыбаясь, отвечал он. — Это значит, что тебе надо будет пробыть дома еще три дня. Но обещай мне, что ты больше не станешь выкидывать таких штучек. У твоей матери и без того хватает хлопот, чтобы еще то и дело стремглав мчаться забирать тебя из школы.

— Обещаю, — сказал я. — Больше не буду.

Автомобильные гонки

Кое-как я дотянул до конца первой четверти своего первого учебного года в школе св. Петра, и к концу декабря моя мама приплыла на колесном пароходе, чтобы забрать меня, чемодан и сундучок домой на рождественские каникулы.

О, какое это блаженство и чудо — вновь оказаться среди родных и близких после всех этих недель суровой дисциплины! До тех пор, пока не окажешься в школе-интернате, совершенно нельзя оценить роскошь житья в родном доме. Можно даже сказать, что стоит уезжать, потому что так замечательно возвращаться. Мне с трудом верилось, что не надо умываться холодной водой по утрам и не шуметь в коридорах, и говорить «сэр» каждому встречному взрослому мужчине, что не надо пользоваться ночным горшком, завтракать овсянкой, в которой, кажется, полно серых кругленьких катышков овечьего помета, и весь день напролет испытывать непреходящий страх перед длинной желтой тростью, лежавшей на шкафу в кабинете директора.

Погода для рождественских праздников выдалась необычайно мягкой, и в одно прекрасное утро вся наша семья приготовилась к первому выезду в самом первом купленном нами автомобиле. Эта новая машина представляла собой огромный длинный черный французский автомобиль марки «Де Дион-Бутон» с откидным брезентовым верхом. Вести машину должна была моя сводная сестра (тогда ей исполнился двадцать один год, и это та самая, у которой недавно удалили аппендикс).

Предварительно она получила два получасовых урока вождения, преподанных ей человеком, который доставил эту машину, и в столь просвещенном году, каков был 1925-й, это считалось вполне достаточным. Вы сами себе судья в вопросе собственной компетентности, и как только ощутите, что готовы ехать, поезжайте с Богом, и счастливого вам пути.

Когда мы забрались в машину, волнение так нас распирало, что мы с трудом сдерживались.

— А какая у него скорость? — кричали мы. — Километров восемьдесят в час выжать из него можно?

— Все сто! — отвечала сестра.

И в голосе у нее была такая самоуверенность и такой задор, что одно это должно было перепугать нас до смерти. Но мы ни чуточки не испугались.

— Ого! Так давай разгонимся до сотни! — кричали мы. — Прокати нас с ветерком! Обещаешь?

— Пожалуй, мы и побыстрее разогнаться сумеем, — объявила сестра, натягивая шоферские перчатки и повязывая голову шарфом в соответствии с водительской модой, господствовавшей в ту эпоху.

Брезентовый верх откинули ввиду мягкой погоды, превратив автомобиль в прекрасную и величественную открытую прогулочную карету. Спереди поместились трое: водитель за рулем, мой сводный брат (восемнадцати лет) и одна из моих родных сестер (двенадцатилетняя). На заднем сиденье нас было четверо: мать (сорок лет), две младшие сестры (восемь и пять лет) и я (девять).

Все мы дрожали от страха и радости, когда водительница отвела назад рукоятку коробки передач и огромный длинный черный автомобиль подался вперед и едва заметно пошевелился.

— Ты хоть водить-то умеешь? Правда? — кричали мы. — А тормоза где у нее, знаешь?

— А ну-ка тихо! — огрызнулась сестра. — Мне надо сосредоточиться.

Покатили мы по подъездной дорожке и въехали в саму деревню Лландафф. К счастью, в те времена на дорогах попадалось очень мало, как это тогда называлось, подвижных экипажей. Лишь иногда навстречу ехал маленький грузовичок, или мимо спешила чья-либо личная легковушка, но риск столкнуться с чем-то иным был крайне незначительным, по крайней мере до тех пор, пока удавалось удерживать автомобиль на проезжей части.

Блестящее черное авто лениво ползло через деревню, а его водитель что есть силы давил на резиновый пузырь клаксона всякий раз, когда мы проезжали мимо какого-нибудь человеческого существа, будь это мальчишка-разносчик из мясной лавки на велосипеде или же просто пешеход. Вскоре мы оказались среди зеленых полей и без единой живой души в поле зрения.

— Что, думали, не смогу, так, что ли? — прокричала сестра, оборачиваясь и ухмыляясь всем нам.

— Ты бы на дорогу лучше глядела, — обеспокоенно сказала мать.

— Давай быстрей! — кричали мы. — Гони! Чего она еле плетется? Дави на газ! Сильнее! Мы же и до двадцати километров в час еще не разогнались!

Подгоняемая нашими криками и подначками, сестра понемногу стала набирать скорость. Двигатель ревел, а корпус машины трясся. Сестра вцепилась в баранку, словно в волосы утопающего, а все мы следили за стрелкой спидометра, которая

доползла сначала до цифры тридцать, потом до сорока, потом до пятидесяти. Мы мчались на скорости пятьдесят пять километров в час, когда вдруг дорога резко вильнула в сторону. Сестра, никогда прежде не сталкивавшаяся с чем-либо подобным, завопила: «Помогите!» — со всего маху нажала на тормоза и зверски крутанула баранку. Задние колеса резко повело в сторону, и мы со звоном, хрустом и треском врезались в кусты живой изгороди. Все пассажиры с переднего сиденья вылетели через переднее ветровое стекло, а с заднего сиденья — через заднее ветровое стекло. Стекло (тогда еще не знали никакого небьющегося триплекса) разлетелось во все стороны, и точно так же поступили и мы. Брат и одна сестра приземлились на капоте автомобиля, кто-то шмякнулся на дорогу и по меньшей мере одна из младших сестер залетела в гущу кустов боярышника, которые служили живой изгородью. Но чудом никто особенно не пострадал, не считая меня. Я почти лишился носа — он был срезан, когда я летел сквозь заднее стекло, и теперь болтался на тонюсенькой полоске кожи. Моя мать высвободилась из общей свалки и, схватив свою сумочку, вытащила из нее носовой платок. И торопливо приставила отваливающийся нос на место, придерживая его платком.

Нигде не было видно ни людей, ни жилья, не говоря уже про телефон. Какие-то птички чирикали на дереве у дороги, и больше ни единого звука.

Мать наклонилась надо мной, полулежавшим на заднем сиденье, и велела: — Откинь голову назад и так и держи. — А потом спросила у нашего шофера: — Завести снова ее сможешь?

Сестра нажала на стартер, и, ко всеобщему изумлению, мотор заработал.

— Вытаскивай ее из этих кустов, — сказала мать. — И поживей.

Сестре все никак не удавалось найти заднюю передачу. Шестеренки в коробке передач въедались друг в друга со страшным скрежетом истирающегося металла.

— На самом деле я никогда еще не ехала задним ходом, — призналась она наконец.

Все, кроме нее, моей матери и меня, в машину не садились и оставались стоять на дороге. Скрежет шестеренок, которые продолжали тереться друг о друга в коробке передач, ужасал. Словно газонокосилку волокли по камням. Сестра сказала несколько нехороших слов и побагровела лицом, но тогда брат просунул голову в кабину и сказал:

— А ногу на педаль сцепления ты ставила?

Водительница, которая в конец извелась, надавила ногой на

педаль, шестерни сцепились зубцами одна с одной, и секунду спустя огромная черная зверюга скакнула назад и, двигаясь задом наперед, пересекла дорогу наискосок, и опять оказалась в гуще живой изгороди, только по ту сторону дороги.

— Постарайся хладнокровнее, — сказала мать. — Теперь попробуй вперед, но помедленней.

В конце концов побитый автомобиль удалось извлечь и из второй живой изгороди и поставить боком поперек дороги, так что он перегородил всю проезжую часть. И вот теперь появился человек с лошадью и телегой, и этот человек слез с телеги, подошел к нашей машине и склонился над задней дверцей. У него были большие ниспадающие усы и маленький черный котелок на голове.

— Вы, никак, в передрягу вляпались? — сказал он моей матери.

— Машину водите? — спросила у него мать.

— Не-а, — ответил он. — А вы весь путь мне начисто перегородили. У меня ж вон в повозке тысяча свежих куриных яиц только что из-под несушек, и я хочу довезти их на рынок до обеда.

— Освободите дорогу, — сказала ему моя мать. — Ребенок ранен, и серьезно, не видите, что ли?

— Тыща яиц только что из-под несушек, — повторил возница, пяля глаза прямо на руку матери, на пропитанный кровью носовой платок и на кровь, текущую по ее запястью. — А коли я сегодня до обеда не доберусь до рынка, так я же их тогда и до следующей недели не продам. И тогда они уже перестанут быть свеженькими, верно ведь? И буду я тогда сидеть на тысяче тухлых старых яиц, а на кой ляд они такие кому нужны?

— Хорошо бы они сейчас сгнили, — воскликнула мать. — А теперь сию секунду прочь с дороги! Уберите телегу! — А детям, стоявшим на дороге, она крикнула: — Быстро все в машину! Мы едем к доктору!

— Стекла повсюду на сиденьях! — закричали дети.

— Подумаешь, стекла! — сказала мать. — Мы должны поскорее доставить парня к врачу.

Пассажиры прыгнули в машину. Человек с лошадью и телегой отпрянул на безопасное расстояние. Сестра умудрилась наконец развернуть машину, и автомобиль помчался по шоссе в сторону хирургической клиники доктора Данбара, что на улице Катедрал-роуд в городе Кардиффе.

— Я же никогда не ездила по городу, — бормотала трепещущая сестра.

— Ну так скоро поедешь, — сказала мать. — Ты двигайся

давай.

На скорости не более десяти километров в час мы в конце концов добрались до клиники. Меня вытащили из кабины и завели внутрь, причем мама все время крепко прижимала окровавленный носовой платок к моему носу.

— Боже милостивый! — вскричал доктор Данбар. — Он же срезан у него подчистую!

— Больно, — ныл я.

— Нельзя же ему всю оставшуюся жизнь обходиться без носа, — сказал врач моей матери.

— Боюсь, как раз это ему и предстоит, — заметила мать.

— Ерунда какая! — сказал ей врач. — Я его поставлю на место и пришью.

— А сумеете? — спросила у него мать.

— Попробую, — отвечал врач. — Пока что я его покрепче примотаю бинтом и в течение часа буду у вас в доме вместе с ассистентом.

Все мое лицо залепили огромными полосками лейкопластыря, чтобы удерживать нос на полагающемся ему месте, и забинтовали. После чего меня снова отвели в машину, и мы проползли те три с хвостиком километра, которые отделяли клинику от нашего дома в Лландаффе.

Примерно через час я оказался лежащим на том самом столе в детской, который несколько месяцев назад занимала моя сводная сестра, когда ее оперировали по поводу аппендицита. Сильные руки придавили меня к столу, пока мне на лицо накладывали маску из двух слоев марли, между которыми была вата. Я увидал над собой ладонь с бутылочкой, в которой содержалась светлая жидкость, и эта жидкость лилась на маску и пропитывала вату внутри ее. Еще раз я снова почувствовал резкий запах хлороформа в смеси с эфиром, и потом какой-то голос сказал: — Дыши глубже. Вдохни полной грудью.

Я отчаянно старался вырваться, но мои плечи были надежно пригвождены к столу всей тяжестью навалившегося на меня взрослого и очень крупного мужчины. Ладонь, державшая бутылочку над моим лицом, наклоняла ее все сильнее и сильнее, и белая жидкость капала и капала на вату. Кроваво-красные круги пошли у меня перед глазами, и эти круги закружились, завертелись, пока не превратились в багровый водоворот с черной дырой посередине, и откуда-то из дальней дали, находившейся за многие километры от меня, доносился голос, произносивший: «Вот хороший мальчик. Ну, вот, еще чуть-чуть… совсем немножко еще… глазки закрой и спи…»

Я очнулся в собственной своей кровати, а рядом сидела

встревоженная мать и держала меня за руку.

— Думала уж, что ты так и не соберешься пошевелиться, — сказала она. — Ты проспал больше восьми часов.

— А доктор Данбар пришил нос на место? — спросил я у нее.

— Пришил, — сказала она.

— А он там останется?

— Сказал, что останется. Как ты себя чувствуешь, миленький?

— Плохо мне, — сказал я.

После того, как меня вырвало в тазик, мне стало чуточку легче.

— Глянь-ка под подушку, — сказала мать, улыбаясь.

Я повернулся и отогнул угол подушки, и под нею, на снежно-белой простыне, лежала монета — прекрасный золотой соверен с профилем короля Георга Пятого на лицевой стороне.

— Это тебе за отвагу, — сказала мать. — Ты очень хорошо вел себя. Я тобой горжусь.

Капитан Хардкасл

В те времена мы звали их наставниками, а не учителями, и в школе св. Петра одного такого я боялся больше всех остальных, кроме самого директора. Его звали капитан Хардкасл.

Этот человек был стройным и гибким и играл в футбол. На футбольное поле он выходил в белых беговых шортах и белых гимнастических туфлях и коротких белых носках. Ноги у него были крепкими и тонкими, как у барана, а на икрах ног и около икр кожа у него была по цвету точно как баранье сало. Волосы у него на голове были даже не рыжими, а цвета темной киновари — такая бывает у мякоти очень спелого апельсина; и он их зачесывал назад, обильно смазывая бриллиантином, как и сам директор. Пробор у него был как прямая белая линия точно посередине головы, такую без линейки не вычертить.

Усы у капитана Хардкасла были той же расцветки, что и волосы, и ох, что это были за усы! Вид ужасающий: этакий густой оранжевый куст, разросшийся между носом и верхней губой и идущий через все лицо от щеки до щеки; широкие, закрученные по всей длине, кончики вверх топырятся — словно после химической завивки или, может, их по утрам накручивали щипцами, нагретыми на пламени спиртовки. Еще такие усы можно сделать, решили мы, если каждое утро начесывать их снизу вверх перед зеркалом с помощью жесткой зубной щетки.

За усами жило воспаленное лицо дикаря с морщинистым лбом — признак крайне ограниченного ума. «Жизнь — сплошная загадка, — как бы заявлял сморщенный лоб, — а мир — место опасное. Все люди — враги, а маленькие мальчики — это такие букашки, которые при случае накинутся и покусают, если их не опередить и не задать им как следует».

Капитан Хардкасл никогда не бывал спокойным. Его ржавая голова вечно дергалась и металась туда-сюда, и каждое метание сопровождалось коротким пугающим урчанием, раздававшимся из его ноздрей. Он участвовал в войне, там и получил свое звание. Но даже мелкие букашки вроде нас понимали, что капитан — не столь уж и высокий чин и только человек, которому больше нечем гордиться, станет цепляться за такое звание в мирной жизни. Не особенно здорово, если к вам все время обращаются как к какому-нибудь «майору», хотя вы давно уже не служите, но «капитан» — вообще предел падения, самое дно.

Ходили слухи, что он так все время дергается, мечется и урчит из-за какой-то контузии, потому что на войне рядом с ним разорвался артиллерийский снаряд, но точно мы не знали.

ШКОЛА СВ. ПЕТРА

УЭСТОН-СЮПЕР-МЭР

Табель за полугодие

Имя Даль_____ Класс 4_____ Летняя четверть, 1927 г.

Английский — очень хороший.

Здоровье — умеренно хорошее, но он еще юн.

Латынь — старается недостаточно.

Французский — постепенное улучшение.

Поведение — очень хорошее.

Четверть заканчивается 28 июля_____

А. Дж. Х. Франсис

Я так никогда и не понял, почему капитан Хардкасл пристал ко мне с самого моего первого дня в школе св. Петра. Наверное, потому, что он преподавал латынь, а мне она не очень-то давалась. А может, потому, что уже в девять лет я почти не уступал ему ростом. Или, скорее всего, потому, что мне сразу же страшно не понравились его огромные оранжево-красные усы, и он часто замечал, как я пялюсь на них, да еще слегка фыркаю при этом себе под нос.

Стоило мне появиться в трех метрах от него в коридоре, как он сразу же, смерив меня взглядом, командовал: «Не сутулиться, мальчик! Плечи опустить!» — или: «Вынуть руки из карманов!» — или: «Чему это вы так радуетесь, можно поинтересоваться? С какой стати такая ухмылка на физиономии?» — или, оскорбительнее всего остального: «Вы, как вас там, а ну за работу, быстро!» — и мне было ясно: доблестный капитан за меня еще возьмется, и только вопрос времени, когда он задаст мне по-настоящему и как следует.

Черед для стычки пришел в конце второй четверти, когда мне было ровно девять с половиной, а произошла она во время вечернего приготовления домашних заданий.

Каждый рабочий день недели, по вечерам, вся школа должна была собираться в главной аудитории и с шести до семи вечера делать домашнее задание. За подготовку отвечал наставник, дежурящий на неделе. Это означало, что он располагался в верхнем конце аудитории и, возвышаясь над собравшимися в зале

школьниками, следил за порядком. Некоторые наставники читали что-нибудь, какую-нибудь принесенную с собой книжку, другие проверяли тетради. Но не капитан Хардкасл. Тот сидел наверху, дергаясь и хрюкая, и за целый час ни разу даже не взглядывал на свой стол. Его молочно-белые глазки буравили зал все полные шестьдесят минут, выискивая какой-нибудь непорядок, и горе тому мальчику, который оказывался источником беспокойства — оставалось уповать только на помощь небесную.

Правила часа домашних заданий были простые, но строгие. Не позволялось отрывать глаза от своей работы и нельзя было разговаривать. Вот и все. Но оставалась одна драгоценная лазеечка. Я так до конца и не разобрался, в каких случаях это разрешалось, но можно было поднять руку и дождаться, пока дежурный наставник заметит ее и спросит, в чем дело. Но лучше было быть стопроцентно уверенным, что ваше дело — и в самом деле крайне важное.

Только дважды за все четыре года в школе св. Петра мне доводилось видеть, как мальчик тянет руку вверх во время работы над домашним заданием. В первый раз это выглядело примерно так:

Наставник. В чем дело?

Мальчик. Простите, сэр, нельзя ли мне выйти в уборную?

Наставник. Разумеется, нет. Перед занятиями надо было сходить.

Мальчик. Но, сэр… Простите, пожалуйста, сэр… Тогда мне не хотелось…

Наставник. А кто же виноват? Займитесь работой!

Мальчик. Но, сэр… Ох, не могу я, сэр… Пожалуйста, разрешите мне выйти…

Наставник. Еще одно слово, и у вас будут неприятности.

Естественно, неприятности случились: несчастный мальчик испачкал себе штаны, и это привело его потом наверху к бурным объяснениям с экономкой.

Второй раз, как я точно помню, такое случилось в летнюю четверть, а мальчика, который поднял руку, звали Брейтвейт. Помнится мне еще, что дежурным наставником вроде бы был тогда капитан Хардкасл, но клятвенно ручаться за это я не стану. Беседа протекала примерно следующим образом:

Наставник. Да, в чем дело?

Брейтвейт. Простите, сэр, оса влетела в окно и ужалила меня в губу. Губа теперь вспухла.

Наставник. Что?

Брейтвейт. Оса, сэр.

Наставник. Мальчик, я плохо вас слышу! Что там через окно?

Брейтвейт. Мне трудно говорить, сэр, губа раздулась.

Наставник. А из-за чего это она у вас раздулась? Уж не стараетесь ли вы повеселить товарищей?

Брейтвейт. Нет, сэр! Честное слово, я правду говорю, сэр.

Наставник. Говорите отчетливо, мальчик! Что случилось с вами?

Брейтвейт. Я вам уже говорил, сэр. Меня ужалила оса, сэр. Губа у меня распухла. Ужасно болит.

Наставник. Ужасно болит? Что ужасно болит?

Брейтвейт. Губа, сэр. Раздувается все больше и больше.

Наставник. Какое у вас домашнее задание сегодня?

Брейтвейт. Французские глаголы, сэр. Надо их написать.

Наставник. А вы что, губой пишете?

Брейтвейт. Нет, сэр, конечно, нет, но видите ли…

Наставник. Все, что я вижу, так это то, что вы подняли адский шум и отвлекаете всех остальных. Займитесь-ка своей работой.

Крутые они были, эти наставники, ни за что промашки не допустят, и если хочешь выжить, самому надо быть ой каким крутым.

До меня очередь дошла, как я уже говорил, когда шла вторая четверть, и снова за домашние задания отвечал капитан Хардкасл. А надо вам знать, что во время приготовления домашнего задания каждый мальчик в зале сидел за отдельным деревянным столом. Стол этот был обычной школьной партой с наклонным верхом, и еще там имелась узкая доска с углублением для ручки и небольшим отверстием справа для чернильницы. Перья у ручек, которыми мы писали, были съемными, и нужно было макать такое перо в чернильницу каждые шесть-семь секунд, чтобы оно писало. Шариковых авторучек тогда еще не придумали, а чернильными авторучками писать нам запрещали. Перья же, которыми мы писали, часто ломались, и потому почти у всякого мальчика при себе был запас — несколько перышек в коробочке, которая лежала в брючном кармане.

Работа над домашними заданиями была в разгаре. Капитан Хардкасл восседал перед нами, пощипывая свой оранжевый ус, дергая головой и урча под нос. Его глаза буравили собравшихся, выискивая непорядок. Если и слышались какие-то звуки, то разве лишь пофыркивания самого капитана, да еще шуршание бумаги и тихий скрип перьев. Изредка раздавалось негромкое, но пронзительное «пинь!» — это означало, что какой-то школьник слишком уж глубоко обмакнул перо в маленькую чернильницу из белого фарфора.

Катастрофа разразилась, когда я как дурак воткнул кончик

своего пера в столешницу парты. Перо сломалось. Я знал, что запасного перышка у меня в кармане нет, но если сдать незаконченную работу, то никаким сломанным пером оправдаться бы не удалось. В тот день в качестве задания мы писали сочинение, а тема была такая: «История жизни одного Пенса» (это сочинение про мелкую монетку, оно до сих пор хранится в моем архиве). Начало у меня получилось очень складным, и все шло просто замечательно, как вдруг сломалось это самое перышко. До конца часа оставалось еще минимум полчаса, и не мог же я просидеть все это время ничего не делая. Поднять руку, чтобы сообщить капитану Хардкаслу о своем несчастье, я тоже не мог. Боялся, страшно было. И самое обидное, я в самом деле хотел дописать это сочинение. Я уж точно знал, что должно было случиться с моим пенсом на следующих двух страницах, и мне казалось невыносимым оставлять все это недорассказанным.

Я поглядел направо. Мальчика за соседним столом звали Добсон. Он был мой ровесник и славный малый. Даже теперь, шестьдесят лет спустя, я все еще помню, что отец Добсона был врачом и что этот Добсон жил в Аксбридже, в графстве Миддлсекс.

Я мог дотянуться рукой до парты Добсона — настолько до нее было близко. И я подумал, что можно рискнуть. Голову я склонил к парте, но при этом очень старательно следил за капитаном Хардкаслом. И когда мне показалось, что наставник отвернулся, я приставил ладонь трубочкой ко рту и зашептал:

— Добсон… Добсон… Перышко взаймы дай, а?

И вдруг наверху зала все взорвалось. Капитан Хардкасл вскочил на ноги и, тыча указательным пальцем в меня, закричал:

— Вы разговаривали! Я видел, что вы разговаривали! Не вздумайте отпираться! Я точно видел, что вы разговаривали, прикрыв рот ладонью!

Я оцепенел от ужаса.

Все перестали писать и стали оглядываться.

Лицо капитана Хардкасла поменяло расцветку с красной на густо-фиолетовую, и он все время дергался как бешеный.

— Будете отпираться? — кричал он.

— Нет, сэр, н-н-но…

— Так он еще и отпирается! Признавайтесь: вы болтали! Вы хотели, чтобы Добсон вам помог с сочинением, верно?

— Н-нет, сэр, я не просил его об этом. Я не болтал.

— Понятно, он, конечно, не болтал! А кто же, спрашивается, звал Добсона? Или вы решили полюбопытствовать, как его здоровье?

Надо еще раз напомнить читателю, сколько мне тогда было лет. Не был я самонадеянным четырнадцатилетним юнцом. И двенадцати- или хотя бы десятилетним я тоже не был. Мне было девять с половиной, а в таком возрасте человек, как правило, еще плохо оснащен для противостояния взрослому мужчине с оранжево-красной шевелюрой и бешеным нравом. И не остается ничего иного, кроме как трястись и заикаться.

— У… у меня перышко сломалось, сэр, — прошептал я. — Я… я… хотел попросить у Добсона д-докторугое, ес-с-ли у него есть запасное, сэр.

— Вы лжете! — заорал капитан Хардкасл, и в голосе его слышалось торжество. — Я всегда знал, что вы врунишка! Да еще и болтун!

— Перышко мне т-только нужно было, сэр, и все.

— На вашем месте я бы лучше молчал! — громыхал голос с возвышения. — Вы только увеличиваете свои неприятности! Даю вам «полоску»!

Эти слова предвещали мне жуткую, страшную участь. «Даю вам полоску!» Я кожей ощущал прилив сочувствия со всех сторон — каждому было меня жалко. Но никто даже не пошевельнулся и не издал ни звука.

Тут мне придется объяснить вам систему «звезд и полос», действовавшую в школе св. Петра. За очень хорошую работу вас награждали четвертью «звезды», и перед вашей фамилией в списке учеников на доске объявлений ставилась цветным мелом красная точка. Когда четвертушек становилось четыре, красная линия соединяла точки между собой, и у вас получалась целая «звезда».

За очень плохую работу или неподобающее поведение вы получали «полосу», и это автоматически означало, что директор вас вздует.

У каждого наставника было две тетрадки с бланками для четвертушек звезды и для полос; они эти бланки заполняли, подписывали и вырывали в точности так, как чеки вырывают из чековой книжки. Бланки звезды были розовыми, а бланки полос — какого-то зловещего сине-зеленого цвета. Мальчик, получивший звезду или полосу, прятал заполненный бланк в карман, и на следующее утро после молитвы директор вызывал получивших, и те выходили из строя и отдавали их директору. Получить полосу считалось серьезным наказанием, и их давали редко — за неделю, как правило, ими удостаивали не более двух-трех учеников.

И вот теперь капитан Хардкасл вручал такую полосу мне.

— Подойдите сюда, — приказал он.

Я вышел из-за парты и побрел к возвышению. Он уже успел вытащить сине-зеленую тетрадку для полос и начал заполнять один из бланков. Писал он красными чернилами, а в графе «Причина» написал: «Разговоры во время выполнения домашнего задания, попытки пререкания и ложь». Расписавшись, он вырвал заполненный бланк, а потом еще долго заполнял корешок бланка. Наконец, держа этот ужасный клочок сине-зеленой бумаги в руке, он помахал им в моем направлении, но на меня не глядел. Я взял бланк и вернулся к своей парте. Вся школа во всей глаза следила за тем, как я иду.

До конца часа домашних заданий я сидел за партой и ничего не делал — без перышка как я мог написать хоть слово для «Истории жизни одного Пенса»? Пришлось дописывать свое сочинение на следующий день, пока остальные играли на спортплощадке.

Утром следующего дня, сразу после молитвы, директор вызвал тех, кто получил четвертушки звезд и полосы. Кроме меня, никто не вышел. По обе стороны от директора восседали учителя, и я мельком взглянул на капитана Хардкасла. Руки он скрестил на груди, голова дергалась, молочно-белые глаза напряженно следили за мной, лицо все еще тускло светилось вчерашним торжеством.

Я протянул директору листок. Директор взял бланк и прочел написанное там.

— Соблаговолите явиться в мой кабинет, — сказал он, — как только это все кончится.

Через пять минут, семеня на цыпочках и ужасно содрогаясь, я открыл обитую зеленым сукном дверь и вступил в приемную директора — священную обитель.

Я постучался.

— Войдите!

Я повернул ручку и вошел в большую квадратную комнату с книжными шкафами, стульями и огромным письменным столом, обитым красной кожей.

Директор сидел за этим самым столом и вертел в пальцах мою полосу.

— Что вы можете сказать в свое оправдание? — спросил он, и промеж его губ опасно сверкнули белые акульи зубы.

— Это была не ложь, сэр, — сказал я. — Честное слово, сэр, я не врал. И не пытался отпираться.

— А капитан Хардкасл утверждает, что вы делали и то, и другое. Или вы хотите сказать, что капитан Хардкасл — лжец?

— Нет, сэр. О, нет, сэр. У меня перышко сломалось, сэр, и я

просил Добсона дать мне взаймы запасное. Если у него есть.

— А капитан Хардкасл не то говорит. Он говорит, что вы просили Добсона помочь с сочинением.

— Да нет, сэр, не просил я. От меня до капитана Хардкасла далеко было, а я говорил шепотом. Он же не мог расслышать, что я сказал, сэр.

— Так вы все-таки называете его лжецом.

— О, нет, сэр! Нет, сэр! Я так не говорил, сэр!

Ну как я мог спорить с директором? Что, надо было сказать ему: «Да, сэр, если вам действительно хочется знать, сэр, то я называю капитана Хардкасла лжецом, потому что он и есть лжец!» — но подобное и вообразить нельзя было.

У меня на руках оставалась только одна карта, и эта карта была заведомо бита, или, по крайней мере, мне тогда так казалось.

— Спросили бы у Добсона, сэр, — пробормотал я.

— У Добсона? — закричал он. — А чего это ради я буду спрашивать у Добсона? И что я у него должен спросить?

— Он сказал бы вам, что я говорил, сэр.

— Капитан Хардкасл — офицер и джентльмен, — сказал директор. — Он рассказал мне о том, что произошло. С трудом представляю себе, чтоб я бегал и спрашивал у всяких глупых мальчишек, говорит ли капитан Хардкасл правду.

Я молчал.

— За разговоры во время выполнения домашнего задания, — продолжал директор, — за попытки отпираться и за ложь вы получите шесть ударов тростью.

Он поднялся из-за стола и зашагал к шкафу в противоположном углу кабинета. Протянул руки и достал сверху три тонких желтых трости, каждая закругленно изогнута с одного конца. Несколько секунд он подержал их на весу, проверяя и тщательно рассматривая каждую, потом выбрал одну из них, а оставшиеся две положил назад.

— Нагнуться.

Я очень боялся трости. Да и на всем свете не нашлось бы маленького мальчика, который не побоялся бы ее. Это была не просто палка, чтобы бить. Это было орудие для нанесения ран и увечий. Трость рвала кожу. После нее оставались страшные темно-красные шрамы, заживавшие не раньше, чем через три недели, и все это время, пока шрамы не затянутся, в них чувствовалось биение пульса.

Я попытался еще раз избежать неизбежного и закричал почти истерично:

— Я не делал этого, сэр! Клянусь, я правду говорю!

— Молчать и нагнуться! Коснуться руками пола!

Очень медленно я дотянулся руками до своих ботинок. Потом закрыл глаза и приготовился к первому удару.

Трах! Сильный удар по ягодицам — словно из ружья выстрелили! Пока до сознания дойдет чувство боли, проходит время, и запаздывание длится около четырех секунд. Поэтому искушенный истязатель всегда делает перерыв между ударами, чтобы боль успела достичь наивысшей точки.

Так что в течение нескольких секунд после первого «траха» я еще ничего не чувствовал. Потом вдруг пришло ужасное, опустошающее, гибельное, мучительное, невыносимое пылание поперек ягодиц, и когда боль доходила до своей высшей точки, обрушивался второй «трах». Я стоял, согнувшись в пояснице и вцепившись в лодыжки изо всех сил, какие оставались, и прикусив нижнюю губу. Я старался не издать ни единого звука, потому что любой мой отклик только бы увеличивал удовольствие, испытываемое палачом.

Трах!.. Пятисекундная пауза.

Трах!.. Еще одна пауза.

Трах!.. И еще одна пауза.

Я считал удары и, когда на меня обрушился уже шестой, понял, что выдержал казнь, не проронив ни звука.

— Довольно будет, — произнес голос откуда-то из-за моей спины.

Я выпрямился и схватил что было силы обеими руками себя за попу. Это инстинктивная реакция, все так делают. Боль до того жуткая, что пробуешь схватить ее и вырвать с корнем, и чем крепче давишь на больное место, тем больше помогает.

Ковыляя по красному ковру к двери, я глаз на директора не поднимал, пока семенил вприпрыжку. Дверь была закрыта, и никто распахивать ее передо мною не спешил, так что на пару секунд пришлось убрать одну ладонь с пылающего зада, чтобы дернуть дверную ручку.

Наконец я выскочил из директорского кабинета.

Прямо напротив находилась комната наставников-помощников, то есть, как сказали бы теперь, учительская. Там наши педагоги дожидались теперь звонка, чтобы разойтись по своим классам, но, несмотря на свою смертную муку, я все же заметил, что дверь этой общей комнаты была открыта.

Но зачем она открыта?

Уж не оставили ли ее открытой специально, чтобы всем им было лучше слышно, как трость обрушивается на мальчишеское тело?

А зачем же еще? Я даже был почти уверен, что дверь

распахнул не кто иной, как капитан Хардкасл. Мне рисовалась картина: вот он стоит там, среди своих коллег по работе, и довольно хрюкает после каждого удара.

Маленькие мальчики подчас способны вести себя очень по-товарищески, когда у кого-то из них случаются неприятности, и уж тем более, если они чувствуют, что совершена явная несправедливость. Когда я вернулся в свой класс, меня обступили соученики, и со всех сторон я видел участливые лица и слышал сочувствующие голоса поддержки.

И вот что я еще помню. Мальчик моего возраста по фамилии Хайтон так сильно загорелся всей этой историей, что сказал мне в тот день перед ланчем:

— У тебя нет отца. У меня есть. Я хочу написать ему и рассказать, что случилось, и он что-нибудь придумает.

— Да что он может сделать? — сказал я.

— Ой, да ты что? Он все может, — сказал Хайтон. — И мой папа этого так не оставит.

— А где он сейчас?

— В Греции, — сказал Хайтон. — В Афинах. Но какая разница?

Так или иначе, маленький Хайтон сел и написал своему отцу, в которого так верил, но, понятное дело, из его затеи ничего не вышло. Но все равно, это был такой трогательный и великодушный порыв маленького мальчика, захотевшего помочь другому маленькому мальчику, что я никогда не забывал про него и никогда не забуду.

Малыш Эллис и фурункул

Когда пошла уже третья четверть моего учения в школе св. Петра, я заболел гриппом и меня уложили в постель в лазарете. Так называлась палата для больных, в которой безраздельно властвовала противная и страшная экономка. На кровати рядом со мной лежал семилетний мальчик, которого звали Эллисом, и он мне очень нравился. Эллис попал в лазарет потому, что у него на внутренней стороне бедра выскочил здоровенный и кажущийся воспаленным фурункул. Я видел его. Величиной со сливу и почти такого же цвета.

Как-то утром явился доктор осмотреть нас, и вместе с ним в палату вплыла экономка.

— Какая у него сегодня температура? — спросил врач, указывая на меня.

— Тридцать семь и восемь, — ответила экономка.

— Хватит ему тут прохлаждаться, — сказал врач. — Отправляйте его завтра в школу.

Потом он повернулся к Эллису.

— Сними-ка штаны, — сказал он.

Врач был очень страшный — маленький, очки в стальной оправе и лысая голова. От одного его вида у меня душа уходила в пятки.

Эллис снял пижамные штаны.

Врач нагнулся и поглядел на фурункул.

— Гммм, — сказал он. — Противная штука, правда? Надо с этим что-то делать, правда, Эллис?

— А что вы будете делать? — спросил Эллис, дрожа всем телом.

— Ничего такого, о чем ты мог бы волноваться, — сказал врач. — Ложись-ка на спинку и не обращай на меня внимания.

Эллис лег на спину, откинув голову на подушку. Врач поставил чемоданчик со своими инструментами на пол у кроватки Эллиса, потом опустился на колени и открыл чемоданчик. Эллис, даже подняв голову с подушки, все равно бы не увидел, что делает врач. А я все видел. Я видел, как он вытащил скальпель — медицинский нож с длинной стальной ручкой и маленьким сходящим на нет заостренным лезвием. Потом пригнулся у кровати Эллиса, держа скальпель в правой руке.

— Дайте мне большое полотенце, — сказал он экономке.

Та подала ему полотенце.

Все еще низко пригибаясь, врач расправил полотенце и

перехватил его в левую руку. В правой он держал скальпель.

Эллис был напуган и недоверчив. Он стал подниматься на локтях, чтобы хоть что-то увидеть.

— Лежи, Эллис, — сказал врач и, произнося эти слова, подскочил к изголовью кровати и набросил расправленное полотенце Эллису на лицо. Почти в ту же самую секунду он выбросил правую руку вперед и ткнул кончиком скальпеля прямо в огромный фурункул. Сделав лезвием молниеносное вращательное движение, он быстро выдернул его из вскрытого нарыва. Все произошло прежде, чем сбитый с толку Эллис опомнился и выпутался из накинутого ему на лицо полотенца.

Эллис взвыл. Он и не видел, как скальпель вошел в нарыв и как вышел из него, но он же все почувствовал и теперь визжал, как недорезанный поросенок. Мне было видно, как он наконец высвободился из полотенца, окутавшего ему голову, и по его щекам лились слезы, а огромные карие глаза глядели на врача с ужасом и гневом.

— Было из-за чего поднимать столько шуму, — сказала экономка.

— Займитесь этим, — сказал ей врач. — Наложите бандаж и не скупитесь на мазь, магниево-серной мази побольше. — И зашагал прочь.

По правде, я не могу винить врача за такое поведение. По-моему, он действовал правильно и умно. Боль ведь тогда считалась чем-то неизбежным, и от нас ожидали, что мы сумеем ее выдержать. Анестезия и обезболивающие уколы в те времена не очень-то были в ходу. Зубные врачи, например, никогда не утруждали себя каким-то там наркозом. Но очень сомневаюсь, что сегодня вам так уж понравилось бы, если б какой-нибудь врач накинул вам на лицо полотенце, а потом пырнул ножом.

Козий табак

Когда мне было около девяти лет, моя сводная сестра собралась замуж. Ее избранником стал юный английский врач, и в то лето он поехал с нами в Норвегию.

Роман развивался очень бурно, и влюбленная пара, по какой-то причине, которую мы, малышня, так и не поняли, вроде бы не очень радовались, если мы норовили увязаться за ними. А они одни уходили на лодке в море. И по горам лазили только вдвоем. И даже завтракали одни. Нам это было обидно. Как?! Мы в семье всё всегда делали все вместе и теперь не понимали, почему сестра вдруг решила вести себя по-другому. Ну и что, что она обручилась?! Мы возложили вину на ее жениха — это он, похоже, нарушил и разрушил безмятежность нашей семейной жизни, — и стало ясно, что раньше или позже его должна постигнуть неминуемая кара.

Ее жених был заядлый курильщик трубки. Он, кажется, вообще никогда не вынимал изо рта своей отвратительно воняющей трубки, не считая тех моментов, когда ел или плавал. Нам даже захотелось узнать, вынимает ли он ее, когда целуется со своей невестой. Когда он разговаривал с нами, он ее тоже не вынимал. Это нас оскорбляло. Куда вежливее было бы вынуть ее изо рта и беседовать, как полагается.

Однажды все мы отправились на нашей маленькой моторке на остров, где никогда прежде не были, и на этот раз моя сводная сестра и ее мужественный возлюбленный решили поехать с нами.

Мы выбрали тот остров потому, что еще раньше заметили на нем нескольких коз и козлов. Козлы и козы лазали по скалам, и мы решили, что надо бы навестить их, потому что это, наверное, будет весело. Но после высадки обнаружилось, что козы совершенно дикие и к себе нас подпускать вовсе не намерены. Так что мы оставили попытки подружиться с ними и просто расселись на гладких камнях, наслаждаясь замечательным солнцем.

Мужественный возлюбленный набивал свою трубку. Я внимательно наблюдал, как тщательно он запихивает табак в трубку, доставая его из желтого кисета. И только он покончил с этой работой и собрался было раскурить свою трубку, как сестра позвала его купаться. Так что он отложил трубку и ушел.

Я поглядел на трубку, которая лежала на камне. И увидал рядом кучку сухих козьих какашек — каждый катышек был маленьким и круглым, словно светло-коричневая ягодка. Тут же мне пришла в голову интересная идея.

Я дотянулся до трубки и вытряхнул из нее весь табак. Потом

набрал козьих катышков и стал растирать их между пальцами, пока они не стали рассыпаться. Потом очень осторожно затолкал эти высохшие какашки в трубку и старательно утрамбовал их большим пальцем, подражая сестриному жениху. Когда с этим было покончено, я насыпал сверху тоненький слой настоящего табака.

Вся родня наблюдала за этими моими действиями. Никто не сказал мне ни единого слова, но я чувствовал, как со всех сторон на меня нисходит тепло всеобщего одобрения. Я вернул трубку на место, на тот камень, куда ее положил хозяин, и все стали дожидаться возвращения жертвы. Мы были теперь заодно, даже моя мать. Я втянул всех их в заговор, в опасный семейный заговор.

И вот он вернулся — мокрый, грудь колесом, сильный такой красавец, здоровый и загорелый.

— Прекрасное купание! — объявил он всему свету. — Замечательная вода! Очень здорово! — И стал энергично растираться полотенцем. Потом сел на камень и потянулся за трубкой.

Девять пар глаз напряженно следили за ним. Никто не хихикнул, все затаились, чтобы не сорвать розыгрыш. Мы дрожали от предчувствия, и напряжение висело в воздухе. Никто из нас не знал, что в точности случится.

Жених вставил трубку в рот и зажег спичку. Поднес ее к трубке и втянул воздух. Табак воспламенился, и его голова скрылась в клубах синего дыма.

— Ах-х-х, — сказал он, выпуская дым через ноздри, — что может быть лучше доброй трубки после хорошего плавания.

А мы все ждали. Трудно давалось это ожидание — мы едва сдерживали напряжение. Моя младшая сестра, которой было всего семь, не могла больше выдержать.

— А какого сорта табак ты кладешь в эту штуку? — спросила она, выражая лицом и голосом полнейшую невинность.

— «Моряцкая нарезка», — отвечал мужественный возлюбленный. — Лучше ничего нету. У нас балуются всякими дурацкими ароматизированными табаками, но я до них и дотрагиваться не хочу.

— Я и не знала, что вкусы у них разные, у Табаков, — продолжала сестренка.

— Еще бы они не отличались, — стал он объяснять. — Табаки очень даже различаются по вкусу — во всяком случае, для разборчивого курильщика. «Моряцкая нарезка» — это самый чистый и натуральный табак. Табак для настоящего мужчины.

Моя взрослая сводная сестра, вся такая свежая после купания

и вырядившаяся теперь в махровый купальный халат, подошла поближе и села рядом со своим мужественным женихом. Они стали обмениваться друг с другом такими дурацкими игривыми взглядами и слюнявыми смешками, что всем нам стало дурно. Но они были слишком заняты друг другом, чтобы замечать ужасное напряжение, которое овладело всеми остальными. Они даже не видели, как мы все на них уставились. Они просто снова погрузились в свой мир влюбленных жениха и невесты, в котором для маленьких детей просто не было места.

Море было безмятежным, солнце сияло, стоял прекрасный день.

И вдруг, совершенно внезапно, жених издал пронзительный вопль, а тело прямо подскочило в воздух. Трубка выпала изо рта и с грохотом покатилась по камням. Второй изданный им вопль оказался таким пронзительным и визгливым, что над островом от испуга взлетели все отдыхавшие на нем чайки. Черты лица жениха исказились непереносимой мукой, словно бы его подвергали страшной пытке, тело задергалось, а кожа стала белой, как снег. Он начал плеваться, и задыхаться, и сморкаться, и трястись, и жадно хватать воздух, и вообще вести себя так, будто он паралитик с серьезным повреждением жизненно важных внутренних органов. И он полностью лишился дара речи.

Мы зачарованно глядели на него.

Моя сводная сестра, которая, наверно, подумала, что вот-вот лишится будущего мужа, стала хвататься за него, колотить его по спине и кричать:

— Милый! Дорогой! Что с тобой? Где тебе больно? Лодку! Заводите мотор! Срочно в больницу!

Она как будто совсем забыла, что нету тут никаких больниц, по крайней мере в радиусе ста километров.

— Я отравился! — выплюнул наконец из себя ее мужественный возлюбленный. — Достало до легких! Попало в грудную клетку! Вся грудь в огне! Весь живот горит огнем!

— Помогите мне погрузить его в лодку! Быстро! — кричала сводная сестра, хватая его за подмышки. — Чего уставились без дела? Помогайте!

— Нет, нет, нет! — кричал не столь уж и мужественный теперь возлюбленный. — Оставьте меня в покое! Воздуху мне! Воздуху!

Он лег на спину и стал заглатывать огромными глотками великолепный норвежский морской воздух и лишь через минуту или две снова уселся, успокоился и стал быстро приходить в себя.

— Что это такое вдруг на тебя нашло? — спросила его невеста, нежно взяв его ладони в свои и хлопая ими друг о

дружку.

— Ничего не понимаю, — пробормотал он. — Просто ничего понять не могу. — Его искаженное лицо все еще оставалось белым, как снег, и руки продолжали дрожать. — Должна же быть какая-то причина, — все повторял он. — Не бывает без причины.

— Я знаю причину! — закричала семилетняя сестра, заходясь в визгливом хохоте. — Я знаю, что это такое было!

— Что? — завопила в ответ ее сводная сестра. — Ты это о чем? Ну-ка выкладывай.

— Это его трубка! — крикнула младшая сестра, все еще судорожно сотрясаемая смехом.

— Что такого неладного с моей трубкой? — сказал жених.

— Ты козий табак курил! — крикнула маленькая сестра.

До того, как полный смысл этих слов достиг затуманенного сознания влюбленной пары, прошло несколько мгновений, но когда это наконец произошло, и когда страшный гнев начал проступать на лице жениха, и когда он стал медленно и угрожающе подниматься на ноги, мы все вскочили и стали спасаться, и, чтобы сохранить свои жизни, попрыгали со скал в глубокую воду.

РЕПТОН И ШЕЛЛ
1929–1936 ГОДЫ
(13–20 ЛЕТ)

Наряд для большой школы

Когда мне исполнилось двенадцать лет, мать сказала:

— Мне надо послать тебя в Марлборо или Рептон. Куда бы ты хотел отправиться?

Обе названные ею школы были знамениты, но я о них ничего не знал.

— Рептон, — сказал я. — Поеду в Рептон. — Произнести это куда легче, чем Марлборо.

— Очень хорошо, — сказала мать. — Поедешь в Рептон.

Мы тогда жили в графстве Кент, в местности, которая называлась Бексли. Рептон находился в Средней Англии, близ Дерби, километрах в двухстах к северу. Но какое это имело значение? Есть поезда. В те времена, кстати, никого в школу на автомобиле не доставляли. Все ездили на поездах.

И вот мы с мамой отправились на станцию Бексли. Мать собиралась доехать со мною до Лондона и посадить там на поезд до Дерби.

— И не рассчитывай, что я поеду с тобой дальше, — предупредила она.

С собой у меня был только маленький чемоданчик — мой сундук уже уехал, его отправили заранее.

— Успокойся, никто на тебя ни малейшего внимания не обращает, — повторяла мне мать, пока мы шли по Хай-стрит в Бексли. Я был в новой школьной форме, очень странной на вид.

И правда, почти никто даже не глянул в мою сторону.

— Я поняла про Англию одно, — продолжала мама. — Это такая страна, в которой люди обожают ходить в форме и странных одеждах. Двести лет тому назад одеяния у них были еще диковиннее, чем теперь. Радуйся, что тебя не заставляют надевать парик на голову, жабо на шею и кружевные манжеты на рукава.

— Я и так ослом каким-то себя ощущаю, — сказал я.

— Всякий, кто взглянет на тебя, — ответила мама, — поймет, что ты направляешься в новую школу. А у каждой из английских закрытых школ — их почему-то называют Piblie school — своя дурацкая форма. Все будут думать, что ты счастливчик, раз едешь в одну из таких знаменитых школ.

Мы сели на поезд, который привез нас в столицу на вокзал Чаринг-Кросс, а там доехали на такси до вокзала Юстон. Мама посадила меня на поезд, который шел до Дерби, — в него село множество других мальчиков в таких же смешных нарядах, что и

у меня, — и я поехал.

Боузеры

В Рептоне старшеклассники никогда не назывались префектами или старостами. Они звались боузерами, то есть «удавщиками», и имели власть распоряжаться жизнью и смертью мальчиков поменьше. У них было право вызывать нас по ночам вниз в пижамах и наказывать за всего лишь один спортивный носок, валявшийся на полу раздевалки, а не висевший, как полагается, на крючке. Боузер был вправе лупить нас за любое пустячное прегрешение — за подгоревший хлеб, если он привык пить чай с тостами, за недостаточно тщательно вытертую пыль у него в комнате, за опоздание на общий сбор, за болтовню во время вечерней работы над домашними заданиями, за забывчивость: полагалось, например, помнить, что в шесть вечера надо переобуваться в сменную обувь. Список можно было продолжать до бесконечности.

— Четыре в халате или три без него? — произносил боузер, вызвавший вас вечером после отбоя в раздевалку.

Товарищи по спальне уже научили нас, новичков, как надо отвечать на этот вопрос.

— Четыре в халате, — мямлили мы, дрожа.

Этот боузер славился скоростью своих ударов. По большей части боузеры выдерживали паузу между ударами, растягивая наказание, но Уильямсон, большой мастер футбола, крикета и вообще атлет и спортсмен, всегда выдавал свои удары как череду стремительных движений туда-сюда, вовсе не разделяя их какими-то перерывами. Четыре удара немедленно обрушивались на ваш зад, да так молниеносно, что все кончалось за какие-то четыре секунды.

После каждой такой экзекуции в спальне всегда происходил один и тот же обряд. Жертва должна была встать посреди комнаты и спустить свои пижамные брюки, чтобы знатоки могли оценить нанесенный ущерб. Человек пять экспертов обступали побитого и деловито рассуждали:

— Какая великолепная работа!

— Смотри, как точно!

— Ну дает! И не скажешь, что четыре раза бил, хотя вон как теперь все расплылось!

— Точно, ну и глазомер у этого Уильямсона, жуть!

— Глаз у него что надо, ничего не скажешь! Так он же в крикет играет, иначе с чего бы его в команду взяли?

— И крови нету! А еще разок врежь, и потекла бы как миленькая!

— Через халат, учтите! Нет, здорово! Молодец!

— Другим боузерам такое не под силу! Разве что без халата!

— Да это у него кожа страшно тонкая! Даже Уильямсону не сотворить этакого, если кожа — как у всех!

— А какой он орудовал — длинной или покороче?

— Стой! Успеешь еще штаны натянуть! Дай-ка я еще разок гляну!

И вот так стоишь и терпишь. А что поделаешь, хоть тебе и дурно становится от такого бесстрастного обсуждения знатоками.

Раз, когда я все еще стоял посреди спальни со спущенными до колен пижамными штанами, зашел сам Уильямсон.

— Что это ты такое тут делаешь, а? — спросил он, прекрасно зная, что я делаю.

— Н-ничего, — сказал я дрожащим голосом. — С-с-совсем ничего.

— Натягивай штаны и мигом в постель! — приказал Уильямсон, но я заметил, что, когда он уже поворачивался, чтобы уйти, он слегка нагнул голову под таким углом, чтобы лучше разглядеть мои голые ягодицы и плоды своего рукоделия. По-моему, я даже заметил в уголках его губ едва заметный блеск гордости за свою работу, прежде чем дверь за ним закрылась.

Директор

Директор, возглавлявший школу во время моего учения в Рептоне, был какой-то странный. Ненастоящий, что ли, — этакий кривоногий невзрачный тип с большой плешивой головой, очень шустрый, но малоприятный. Конечно, я с ним не был близко знаком, и за все время, что я проучился в его школе, мы общались очень редко и я вряд ли услыхал от него более шести фраз — так что, может быть, я и не вправе о нем рассуждать.

Кстати, этот директор потом стал славным человеком. К концу моего третьего года в Рептоне его вдруг назначили епископом Честерским, и он уехал, чтобы жить во дворце на реке Ди. Помню, в то время меня мучил вопрос: как же это так случается, что кому-то вдруг удаются такие изменения — раз, и одним махом он из школьного наставника делается сразу епископом?! Но потом появились куда большие загадки.

После Честера его скоро опять повысили, и он стал епископом Лондонским, а потом, еще через несколько лет, вновь поднялся вверх по служебной лестнице и заполучил самую большую церковную должность в стране — архиепископа Кентерберийского! Именно он короновал нашу нынешнюю королеву Елизавету Вторую в Вестминстерском аббатстве, так что полмира видели его по телевизору. Ну и ну! А ведь это был тот самый человек, который еще недавно злостно избивал нас — мальчиков, находящихся на его попечении.

Вы можете спросить, почему на этих страницах я так напираю на битье в школе. Отвечаю: я ничего с этим не могу поделать. Всю свою школьную жизнь я ужасался тому, что наставникам и старшим мальчикам позволено не то что лупить, но буквально ранить других мальчиков, и подчас очень даже сильно. Не мог я к этому притерпеться. И никогда не смогу. И не захочу. Нечестно, конечно, было бы утверждать, что в те времена все учителя только то и делали, изо дня в день и весь день напролет, что избивали мальчиков, причем всех мальчиков. Нет, конечно. Били не все, только некоторые, даже очень немногие, но и того оказалось достаточно, чтобы во мне родилось чувство ужаса. Даже теперь, всякий раз, когда мне приходится достаточно долго просидеть на жесткой скамье или неудобном стуле, я начинаю собственным задом ощущать свой пульс, чувствовать, Как биение сердца отдается в шрамах на попе, полученных в школе пятьдесят пять лет тому назад.

И Что уж тут такого неправильного? — слышу я иногда возражения. Небось, несносному мальчишке побои идут только на

пользу, и немалую. Но этот директор, о котором речь, по-моему, вовсе не ограничивался только наказанием ученика. Меня он ни разу, слава Богу, не порол, но я получил весьма живое описаний одной из подобных экзекуций от Майкла — своего лучшего друга в Рептоне.

Майклу было велено спустить штаны и встать на колени на директорском диване так, чтобы верхняя половина тела перевешивалась через спинку дивана. Директор после этого делал Майклу ужасный трах. Потом выдерживал паузу. Трость была отставлена в сторону, а директор начал набивать трубку табаком из жестянки. Попутно он поучал скрюченного мальчишку насчет греха и дурных деяний. Вскоре трость снова оказалась в его руке, и второй жуткой силы трах был преподан содрогающимся ягодицам ребенка. Затем снова небольшой перерыв на табак, трубку и лекцию о неправедном поведении. Потом третий удар тростью. Потом орудие пытки снова откладывалось на стол, и возникал коробок спичек. Спичка загоралась, ее пламя приводилось в соприкосновение с табаком в трубке. Потом четвертый удар и продолжение нотаций. Этот затянутый и мучительный процесс длился до тех пор, пока не были нанесены все десять ужасающих ударов; и все это время, несмотря на перерывы, связанные с трубкораскуриванием и спичкозажиганием, без всякой остановки продолжалась лекция о зле, прегрешениях и дурном поведении. Эта проповедь не прерывалась даже в моменты нанесения ударов.

В конце концов директор доставал тазик, губку и крошечное чистенькое полотенце, и жертва должна была сначала смыть кровь, а уж потом натягивать штаны.

И вам непонятно, почему поведение этого человека так ужасало меня и казалось таким загадочным? Он был в то время заурядным церковнослужителем, а заодно директором школы, и мне приходилось сидеть в слабо освещенной школьной часовне и выслуживать его проповеди об Агнце Божием, о Милости и Прощении и про все такое прочее, и мой юный разум смущался и совсем запутывался. Ведь только вчера сам этот проповедник не проявлял ни Милости, ни Прощения, когда сек мальчиков, нарушивших школьные правила.

Так зачем все это? — то и дело спрашивал я себя.

Проповедуют одно, а делают другое. И это люди Божии, так, что ли, получается?

А скажи мне кто-либо тогда, что этот избивающий детей священник станет однажды архиепископом Кентерберийским, в жизни бы ему не поверил.

Вот тут я и стал сомневаться насчет церкви, религии и даже

насчет самого Бога.

Шоколадки

Время от времени каждому мальчику в нашей школе вручали простенькую серую картонную коробку, а там — подарок от великих производителей шоколада, фирмы «Кэдбери». В коробочке лежало двенадцать плиток шоколада, все разной формы, каждая со своей начинкой и своим номером, отштампованным снизу плитки. Одиннадцать плиток были образцами новых видов шоколада, только что изобретенных на фабрике. Двенадцатая плитка служила «контрольной», с нею, хорошо знакомой нам сливочной шоколадкой, сравнивались новые сорта. Еще в коробке лежал лист бумаги с цифрами от единицы до двенадцати и двумя незаполненными столбцами; первый надо было заполнять оценками, от нуля до десяти, которые мы ставили каждому новому сорту шоколада, во втором можно было писать пояснения, примечания или отзывы.

Все, чего от нас хотели взамен такого великолепного подарка, так это, чтобы мы как можно старательнее распробовали все шоколадки, поставили каждой оценку и внятно и разумно объяснили, почему она нравится или не нравится.

Хорошо придумано. «Кэдбери» сумел привлечь к испытанию своих новейших изобретений самых великих знатоков шоколада в мире. Возраста мы были самого чувствительного, между тринадцатью и восемнадцатью, и были близко знакомы со всеми существующими разновидностями шоколадных плиток, от «Молочной снежинки» до «Алтейного корня с лимоном». Совершенно очевидно, что наши мнения о новых сортах дорогого стоили. И для нас это было большим удовольствием: мы рассаживались в учебных комнатах, которое в Рептоне назывались студиями, и предавались этому занятию, словно какие-то дегустаторы или этакие искушенные тонкие ценители, и выводили оценки, сопровождая их пояснениями. «Слишком изысканный вкус для обычного нёба», — так, помню, написал я однажды в своем отзыве.

Еще я начал понимать, что в крупных шоколадных компаниях есть какие-то конструкторские или изобретательские отделы и к своим разработкам фабриканты относятся очень серьезно. Обычно мне рисовалась такая картина: длинное белое помещение, вроде лаборатории, на плитах булькают кастрюльки с шоколадом, конфетами и всякими разными вкусными начинками, а между ними бродят мужчины и женщины в белых халатах, пробуя, помешивая и что-то добавляя, и так составляют свои чудесные новые изобретения. Я стал представлять себе, как я

тоже работаю в такой лаборатории, и вот, вдруг, у меня получается что-то такое невообразимо приятное на вкус, и я хватаю эту свою вкуснятину, выскакиваю из лаборатории, бегу по коридору и влетаю прямо в кабинет самого большого начальника, великого мистера Кэдбери.

— У меня получилось, сэр! — закричу я, выкладывая шоколадку ему на стол. — Фантастика! Сказка! Диво дивное! Вкуснятина и вкуснотища!!!

Очень-очень медленно великий мистер Кэдбери возьмет тогда мою только что изобретенную шоколадку и положит в рот маленький-маленький кусочек. И начнет катать его во рту. А потом вдруг внезапно сорвется со стула и закричит:

— Да! Да! У вас получилось! Получилось! Чудо!

И он хлопнет меня по плечу и воскликнет:

— Миллион таких продадим! Весь мир такими завалим! Как же это… как же у вас получилось? Молодец! Ваша зарплата… вы получаете теперь вдвое больше!

Так славно было предаваться таким сладостным мечтам, видеть такие сны наяву! Когда через тридцать пять лет я все никак не мог придумать, про что написать свою вторую детскую книжку, я вспомнил про эти картонные коробки с образцами новых, только что изобретенных сортов шоколада, и стал сочинять книгу, которую назвал «Чарли и шоколадная фабрика».

Коркерз

В Рептоне было около тридцати учителей, большинство из них скучные и неинтересные. И нами они совсем не интересовались. Но Коркерз, чудаковатый старый холостяк, был ничуть не скучный. Громадного роста нескладный дядька с обвислыми, как у собаки, щеками, он всегда ходил в мятых брюках и заношенном коричневом пиджаке в пятнах и с крошками еды от завтрака или обеда. Считалось, что он учит нас математике, но взаправду вовсе ничему он нас не учил и считал, что так и надо. Его уроки превращались в нескончаемую череду развлечений, которые он сам придумывал, так что никакой математикой и не пахло.

Вот он входит в класс, садится за свой стол и глядит на учеников. Мы ждем и гадаем, что он придумает на этот раз.

— Давайте-ка глянем на кроссворд в сегодняшнем номере «Таймс», — говорит он, доставая скомканную газету из кармана пиджака. — Куда веселее, чем возиться с цифрами. Терпеть не могу цифр. Ничего на свете нет омерзительнее.

— А почему же вы тогда преподаете математику, сэр? — спрашивает кто-нибудь у него.

— А я разве ее преподаю? — говорит он, хитро ухмыляясь. — Я же только вид делаю.

И вот Коркерз рисует нам решетку кроссворда мелом на доске, и до конца урока мы заполняем клетки кроссворда: он читает, что там надо по горизонтали и по вертикали, а мы пытаемся угадать нужное слово.

Очень нам это нравилось.

Единственный раз на моей памяти он слегка вроде бы коснулся математики. Это случилось, когда он вынул из кармана квадратик папиросной бумаги и помахал им перед собой.

— Гляньте-ка сюда, — сказал он. — Толщина этой папиросной бумаги — одна сотая дюйма, то есть двести пятьдесят четыре тысячных миллиметра. Я перегибаю этот лист, так что она становится вдвое толще. Потом перегибаю еще раз — значит, уже четыре толщины. Так вот, тут у меня большая плитка молочного шоколада «Кэдбери» с изюмом и орехами, и я отдам ее тому, кто скажет мне, с точностью до десяти сантиметров, толщину листа, сложенного пятьдесят раз.

Все мы потянули руки вверх и давай гадать.

— Шестьдесят сантиметров, сэр…

— Метр, сэр…

— Пять метров, сэр…

— Восемь сантиметров, сэр.

— Не очень-то вы умны, а? — говорил Коркерз. — Правильный ответ такой: это расстояние от Земли до Солнца. Сто пятьдесят миллионов километров. Вот какая толстая будет бумага.

Мы не поверили и потребовали у учителя доказательств. И он доказал, покрывая классную доску вычислениями.

В другой раз он притащил в класс полуметрового, если не длиннее, ужа и приставал ко всем, добиваясь, чтобы каждый ученик подержал его в руках. Это затем, говорил он, чтобы навсегда излечить нас от страха перед змеями. Его затея немало нас взволновала.

Не вспомнить уже все прочие замечательные штуки, придуманные учителем Коркерзом, чтобы развлечь свой класс, но одну его выходку я никогда не забуду, да и повторялась она не реже чем раз в месяц.

Вот он рассказывает нам то да се и вдруг обрывает речь на полуслове. Лицо его омрачает мучительно напряженная гримаса, голова задирается вверх, огромный нос начинает мелко-мелко втягивать воздух, принюхиваясь, и он громко вопит:

— О Боже! Так нельзя! Невыносимо!

Мы уже знали, что будет дальше, но всегда ему подыгрывали:

— А что случилось, сэр? В чем дело? Как вы себя чувствуете, сэр? Вам дурно?

Огромный нос снова задирался вверх, голова медленно покачивалась из стороны в сторону, и он втягивал носом воздух, словно пытался отыскать утечку газа или понять, где что горит.

— Невозможно терпеть! — вопил он. — Это невыносимо!

— Но в чем дело, сэр?

— Я вам сейчас скажу, в чем дело, — продолжал кричать Коркерз. — Кто-то испортил воздух!

— Ой, нет, сэр!.. Это не я, сэр!.. — И не я!.. — Не мы это, сэр!

И тогда он издавал новый вопль, еще сильнее:

— Открыть дверь! Проветрить помещение! И все окна нараспашку!

Это был для нас сигнал к бешеной активности, и весь класс дружно вскакивал на ноги. Сама операция была хорошо изучена и многократно отрепетирована, и потому каждый из нас точно знал, что он должен делать. Четверо мальчиков распахивали дверь и начинали со всей силы размахивать ею туда и сюда. Остальные кидались к огромным окнам во всю стену, карабкались на подоконники, открывали сначала нижние створки, а потом, орудуя длинным шестом, умудрялись распахнуть и верхние, и высовывали головы наружу, изображая недомогание и жадно

хватая воздух. А Коркерз в это время безмятежно расшагивал по классу, бормоча:

— Это все капуста! Они вас ничем другим не кормят — только эта отвратная капуста! — вот вы тут и взрываетесь, как петарды!

И на этом урок, можно сказать, заканчивался.

Прислуга

Два долгих года в Рептоне я был слугой. Как и все младшеклассники, я прислуживал боузерам, то есть старшеклассникам. Боузеры были существа опасной породы. Когда шла вторая моя четверть в Рептоне, мне до того не повезло, что угораздило попасть в слуги старосты Дома, а им был тогда надменный, противный и непредсказуемый семнадцатилетний подросток, которого звали Карлтон. Карлтон этот всегда глядел на нас, скосив глаза на кончик своего носа, даже если росту в собеседнике оказывалось — как это и было в случае со мной — не меньше, чем у него самого. В этом случае он задирал голову и все равно умудрялся глядеть на тебя сверху вниз. У Карлтона в комнате работали трое слуг, и всех нас он запугивал и изводил, особенно по утрам в воскресенье, потому что по воскресеньям надо было чистить и приводить все в порядок. Слуги снимали пиджаки, закатывали рукава, приносили ведра и половые тряпки и убирали помещение своего хозяина. Мы скребли пол, мыли окна, полировали каминные решетки и убирали пыль со всех выступов и выемок, осторожно складывали в сторону хоккейные клюшки, крикетные биты и зонты.

Каждое воскресное утро мы трудились, наводя чистоту в комнате Карлтона, а потом, перед самым ланчем, в помещение парадным шагом заходил сам хозяин и говорил:

— Что-то вы долго сегодня…

— Прости, Карлтон, — бормотала вся наша троица и содрогалась. Еле дыша от напряжения, мы понуро стояли и глядели на гнусного Карлтона, дожидаясь, когда он закончит проверку. Первым делом он лез в выдвижной ящик своего письменного стола и извлекал оттуда снежно-белую хлопчатобумажную перчатку, которую затем подчеркнуто неторопливо натягивал на правую руку. Потом он медленно совершал тщательный обход комнаты, проводя рукой в белой перчатке вдоль всех выступов и выемок, по всем поверхностям письменных столов и даже по прутьям каминной решетки. Каждые несколько секунд он подносил руку к лицу, выискивая следы пыли, а мы, трое его слуг, затаив дыхание, ждали того ужасного момента, когда наш властелин выпрямится во весь рост и заорет:

— Ага! Что же это такое я вижу?

Его лицо озарялось сиянием торжества, и он поднимал вверх оттопыренный белый палец, на котором едва виднелось малюсенькое серое пятнышко — не пыли даже, а какого-то

намека на пыль, — и он тогда впивался в нас своими бледно-голубыми глазами и говорил: — Ведь вы же должны были все тут почистить, так? И не удосужились прибраться как следует…

Для трех его слуг и рабов, вкалывавших тут целое утро, эти слова не могли иметь ничего общего с правдой.

— Мы тут вылизали каждый миллиметр, Карлтон, — отвечали мы. — Все вычистили.

— А откуда тогда пыль у меня на пальце? — вопрошал Карлтон, откидывая голову назад и глядя на нас сверху вниз через кончик своего носа. — Вот *это* же — пыль, правда?

Мы тогда придвигались поближе и пялились на его указательный палец в белой перчатке и на крошечное серое пятнышко, и не произносили ни слова. Меня так и подмывало ответить ему, но это было бы равносильно самоубийству.

— Неужели вы можете оспаривать тот факт, что это пыль? — продолжал Карлтон, все еще держа свой палец на отлете. — Если я неправ, докажите мне это.

— Но тут *мало* пыли, Карлтон.

— Я не спрашиваю, *много* ее или *мало,* — говорил тогда Карлтон. — Я спрашиваю лишь про то, пыль это или нечто иное. Быть может, это соль или, например, дамская пудра?

— Нет, Карлтон.

— Или толченые алмазы, может быть?

— Нет, Карлтон.

— Так что это?

— Это… Это… пыль, Карлтон.

— Благодарствую, — говорил тогда Карлтон. — Наконец-то вы признали, что так и не убрали толком у меня в комнате. Посему жду всех вас, всю тройку, в раздевалке, сегодня вечером перед отбоем.

Правила и ритуалы, обязательные в Рептоне для слуг, были до того сложны, что я мог бы заполнить их описанием целую книгу. Боузер Дома, то есть главный староста всего жилого корпуса, например, был вправе приказывать любому из слуг во всем Доме. Он мог встать, где ему заблагорассудится, в любом месте — в коридоре, в раздевалке, даже во дворе — и заорать: «Слуга-а-а!» — во всю мощь своей глотки и на самой высокой ноте, — и все мы, сколько бы нас ни было в тот момент, обязаны были бросить все свои дела и бежать во всю прыть на звук этого вопля. А тот, кто прибегал последним, мог заранее быть уверен, что боузер нагрузит его самой унизительной и самой неприятной работой, которую только сможет выдумать.

Случилось это еще в первую мою четверть. Я, как раз перед ланчем, счищал грязь с подошв футбольных бутсов своего

хозяина, и тут с противоположного конца здания донесся истошный вопль: «Слуга-а-а!» Бросив все, я побежал. И все равно опоздал, а боузер, кричавший на этот раз, мощный такой спортсмен по имени Уилберфорс, сказал:

— Даль, ну-ка иди сюда.

Я робко приблизился и получил от Уилберфорса такое распоряжение на свой счет:

— Иди и нагрей мое сиденье в гадюшнике, — сказал он. — Мне надо, чтобы оно было теплое.

Я ни малейшего понятия не имел, что бы это могло означать, но мне уже было хорошо известно, что боузерам лучше не задавать лишних вопросов. То есть вообще каких бы то ни было вопросов. Я кинулся прочь и нашел другого младшеклассника, своего знакомца, который объяснил мне смысл этого странного приказания. Боузер, оказывается, изъявил желание сходить в туалет, но ему не хотелось садиться на холодный стульчак.

Шесть туалетных кабинок для обитателей Дома — ни у одной из которых не было двери, — располагались на задворках и не отапливались, так что в холодный зимний день запросто можно было отморозить себе кое-что.

И как раз этот самый день выдался морозным, ледяным каким-то, и я пошел по снегу в туалет и вошел в кабинку номер один, которая, как я знал, была зарезервирована для боузеров. Смахнул иней с сиденья своим носовым платком, а потом спустил штаны и уселся. И пробыл там минут двадцать в леденящем холоде, пока, наконец, Уилберфорс не соизволил появиться на пороге.

— Иней хоть убрал? — спросил он.

— Да, Уилберфорс.

— А нагрел?

— Нагрел, как только смог, Уилберфорс.

— Сейчас мы это проверим, — сказал он. — Пока свободен.

Я поднялся со стульчака и подтянул свои брюки, а Уилберфорс спустил свои и уселся.

— Замечательно, — сказал он. — В самом деле, очень хорошо. — Он говорил, как знаток вина, смакующий какой-нибудь старый портвейн. — Будешь у меня в списке, — добавил он.

Я все еще пытался справиться с пуговицами на ширинке и не сразу догадался, что значат эти его слова.

— Бывают слуги с холодными задницами, — сказал он. — А попадаются и с горяченькими. Только таких я и использую для обогрева стульчака в гадюшнике. Тебя я запомнил.

И в самом деле, с той поры, пока зима не прошла, я оставался

для Уилберфорса любимым подогревателем стульчака в туалете и даже выработал привычку таскать с собой в кармане своего пиджака книжку карманного формата, чтобы было чем заняться во время долгих стульчакоподогревательных посиделок. За ту первую свою зиму в Рептоне я таким образом сумел прочесть полное собрание сочинений Диккенса.

Игры и фотография

Меня всегда удивляло, как легко давались мне спортивные игры. Еще большим сюрпризом оказался для меня необычайный мой успех в двух играх. Одна называлась файвз, другая — сквош.

Файвз — игра, про которую, наверное, многие из вас и не слыхивали, — в Рептоне считалась делом серьезным, и в нашем распоряжении находилось с десяток покрытых травяным дерном кортов для файвза, и эти площадки всегда содержались в прекрасном состоянии.

По правилам, требовалось четыре игрока, по двое с каждой стороны, и игра сводились, по сути дела, к перебрасыванию руками маленького твердого кожаного мячика. У американцев есть похожая игра, и зовется она у них гандболом, но файвз куда сложнее, потому что наш корт — не просто ровная площадка, там полно всяких склонов и холмов, так что игра требует изощренности и настоящего мастерства.

Файвз, наверное, самая скоростная игра в мяч на свете, куда стремительнее, чем сквош, и мячик летал по корту и отскакивал от его бортиков и канавок с такой скоростью, что и уследить за ним было трудно. Требовались быстрые глаза, крепкие запястья и очень проворные ладони, чтобы хорошо играть в файвз, и эта игра стала получаться у меня с самого начала. Вам, наверно, трудно в это поверить, но я до того преуспел в этой игре, что в том году, когда мне было пятнадцать лет, я обыграл всех и младших, и старших файвзистов своей школы. Вскоре я уже носил почетный титул «Капитан Файвз», ездил со своей командой в другие школы (скажем, в Шрузбери или Аппингхем) и играл матчи с тамошними командами. Ох, как мне это нравилось!

Капитана любой спортивной команды в Рептоне очень уважали как самую важную персону — ведь он лично отбирал игроков в команду для важного матча и отстаивал честь своей школы.

На капитана возлагалось, кроме того, множество обязанностей. Ему полагалось вывешивать афишу на школьной доске объявлений накануне матча. Ему надо было договариваться с другими школами о матчах, и он сам, лично, вступал ради этого с ними в переписку. Короче, у меня появилось много прав и обязанностей, как только я стал Капитаном Файвз. Но тут случилась заминка.

Считалось само собой разумеющимся, что капитана делают еще и боузером — как признание его талантов, — пусть не Боузером Школы, но хотя бы Боузером Дома. Однако

администрация школы ко мне не благоволила. Не заслуживал я доверия. Их доверия. Правил я не любил. Был непредсказуем. Короче, никак невозможно было им сделать меня Боузером. Не все рождены для того, чтобы властвовать и править. Я был не из таких. И я полностью согласился с Наставником Дома, который мне все это растолковал. Дрянной из меня вышел бы староста. Чего доброго, я бы нарушил все школьные традиции, отказавшись бить маленьких. Наверное, не было — а может, и вообще никогда не бывало — в Рептоне капитана спортивной команды, не являвшегося заодно и боузером. А я ведь был Дважды Капитаном, так как сумел стать капитаном еще и команды игроков в сквош. Мало того, я еще и в школьной футбольной команде блистал.

Любой мальчик, хорошо игравший в спортивные игры, как правило, мог рассчитывать на приличное и даже вежливое обхождение с ним школьного начальства. Во многом это похоже на древнюю Грецию, где почитали своих спортсменов и ставили им мраморные статуи. Атлеты считались полубогами и были в числе немногих избранных. Ведь они совершали славные подвиги, их победы казались волшебством, которое не под силу обыкновенным смертным. Да и сейчас прославленные футболисты, и бейсболисты, и бегуны, и все остальные великие спортсмены весьма любимы и обожаемы народными массами, и рекламщики пользуются ими, чтобы сбывать всякие печенья и кукурузные хлопья к завтраку.

Из-за того, что я любил спортивные игры и был удачлив, жизнь в Рептоне была для меня иногда даже приятной. Спортивные игры в школе — всегда в радость, если они тебе удаются. Мне повезло: я оказался среди счастливчиков, и часы на игровых площадках, футбольных полях и на кортах файвза и сквоша скрашивали мне серые и печальные школьные будни, которые, не будь игр, тянулись бы еще дольше и казались бы еще тоскливее.

Было еще одно, что доставляло мне в этой школе массу удовольствия, и это была фотография. Кроме меня, ею всерьез в Рептоне ни один мальчик не занимался, а ведь пятьдесят лет тому назад она была вовсе не таким простым делом, как сегодня. Я устроил для себя крошечную фотолабораторию в углу музыкального корпуса и там складывал свои стеклянные фотопластинки, проявлял негативы и печатал их.

Наставником искусств был у нас стеснительный учитель по имени Артур Норрис. Я с ним очень подружился, и в последний мой год в Рептоне мы вместе устроили выставку моих фотоснимков. Он предоставил мне хорошее помещение и помогал вставлять в рамы и развешивать мои увеличенные фотографии.

Выставка оказалась успешной, и наставники, вряд ли за все четыре года снисходившие до какого-то разговора со мной, теперь подходили ко мне и произносили всякие любезные фразы вроде: «Весьма незаурядно… Мы и не знали, что у нас есть такой фотохудожник, настоящий мастер… А это у вас продается?»

Артур Норрис поил меня чаем с пирожными у себя на квартире и беседовал со мною о живописцах вроде Сезанна, Мане и Матисса, и у меня такое чувство, что именно там, за чаем и под мягкие негромкие речи мистера Норриса в его квартирке по воскресеньям, и зародилась моя страстная любовь к художникам и их искусству.

После школы я еще долго занимался фотографией и научился делать вполне приличные снимки. Сегодня любой, купив хороший фотоаппарат, может стать знающим и умелым фотографом, но пятьдесят лет назад все было не так просто. Вместо пленки тогда использовали стеклянные фотопластины, и каждую надо было перед съемкой заряжать в кассету в фотолаборатории, то есть в специальной темной комнате. Для каждой пластины требовалась отдельная кассета. С собой я обычно носил шесть таких заряженных кассет, то есть сделать я мог не более шести снимков, так что, прежде чем щелкнуть затвором камеры, приходилось все взвесить и прикинуть — а стоит ли?

Вы, может, не поверите, но в восемнадцать лет я уже привык получать за свои снимки награды и медали, которыми меня удостаивало Королевское фотографическое общество в Лондоне, Фотографическое общество Голландии и т. д. А позже я даже получил большую бронзовую медаль из Каира, от Египетского фотографического общества, и все еще храню тот снимок, за который меня ею наградили. Это вид на одно из так называемых Семи Чудес Света, на Арку Ктесифона в Ираке. Это самая большая в мире арка без дополнительных опор, а сфотографировал я ее, когда в 1940 году учился там на летчика, чтобы служить потом в Королевских военно-воздушных силах. Я тогда в одиночку облетал всю пустыню на старинном биплане «Хокер-Харт», и у меня на шее всегда висел фотоаппарат. Заприметив огромную арку, одиноко возвышающуюся над морем песка, я накренил одно крыло, отпустил штурвал и летел в неуправляемом самолете, пока не навел объектив и не щелкнул затвором. Снимок вышел что надо.

Прощай, школа

Когда я уже учился в выпускном классе, мать спросила:

— Хочешь после школы в Оксфорд или Кембридж?

В те времена было не так уж сложно попасть в любой из этих знаменитых университетов, лишь бы деньги были.

— Нет уж, спасибо, — сказал я. — Мне бы хотелось сразу после школы устроиться на работу в такую компанию, которая отправит меня куда-нибудь в чудесный далекий край, вроде Африки или Китая.

Надо вам напомнить, что в начале 1930-х годов по воздуху практически не путешествовали. До Африки приходилось добираться по морю, и на дорогу уходило две недели, а путь до Китая занимал около пяти недель. Это были далекие волшебные страны, и никто туда просто так, чтобы провести там отпуск, не отправлялся. Если в такую даль и ехали, то на заработки. Это в наше время можно добраться до любого места на планете за считанные часы, и ничего сказочного в таком путешествии не осталось. Но в 1933 году дела обстояли совсем по-другому.

Так что еще во время своей последней четверти в Рептоне я послал заявки на трудоустройство в такие фирмы, которые, как я точно знал, могли отправить меня за границу. Это были: нефтяная компания «Шелл», химическая «Империал Кемикалз» и еще одна финская лесоторговая компания, точное название которой я забыл.

Меня согласились принять и в «Империал Кемикалз», и в компании финских лесоторговцев, но почему-то больше всего мне хотелось попасть в «Шелл». Когда пришла пора ехать в Лондон на собеседование, мой наставник, то есть учитель вроде классного руководителя, сказал, что мне не на что надеяться, смешно даже пытаться попасть туда.

— Восточный отдел «Шелл» — это же предел мечтаний, — сказал он. — Там окажется не меньше сотни заявок, а мест-то — и десяти не будет. Не на что надеяться, разве что кандидат — Староста Школы или хотя бы Главный Староста Дома, а вы — даже не боузер!

Насчет заявок он угадал. Когда я прибыл в Главное управление компании «Шелл» в Лондоне, собеседования там дожидались сто семь юношей. А вакансий было семь.

Пожалуйста, не спрашивайте, как мне удалось занять одну из них. Сам не знаю. Но я получил-таки это место; а когда, вернувшись в родную школу, сообщил эту радостную новость своему наставнику, он не стал поздравлять меня. Даже руку не

пожал. Он поспешил уйти от меня прочь — будто я колдун или заразный — и что-то бормотал себе под нос о том, что у него нет акций этой компании.

Но меня уже ничуть не волновало, что он думает по этому поводу. Я-то устроился. Все замечательно!

Мне предстояло навсегда расстаться со школой в июле 1933 года, а через два месяца, в сентябре, как только мне исполнится восемнадцать лет, я поступаю в компанию «Шелл». Буду стажером Восточного отдела, и мне будут платить пять фунтов в неделю. Вот, смотрите, какое я получил от них письмо:

> *16 июля 1934 года*
> *Г-ну Р. Далю,*
> *Рептонская школа в г. Рептон,*
> *графство Дербишир*
>
> Дорогой сэр!
>
> В связи с нашим недавним собеседованием с Вами и потому, что мы уже получили отчет о хороших результатах пройденного Вами медицинского обследования, мы теперь готовы предложить Вам должность в составе штата Лондонского отделения с испытательным сроком три года и начальным окладом жалованья 230 фунтов стерлингов в год. Мы планируем, что в дальнейшем, по достижении Вами возраста в 21 год, Вы будете переведены на работу в один из наших зарубежных филиалов, если работа и Ваше поведение в Лондонском отделении будут сочтены удовлетворительными, и Вы, как мы рассчитываем, в течение испытательного срока проявите такие качества и способности к росту, которые будут сочтены подходящими для работы в наших зарубежных службах.

Этим летом, впервые в жизни, я не поехал вместе со всей нашей семьей в Норвегию. Меня тянуло на что-то другое, особенное, на этакий загул, что ли, прежде чем я стану деловым человеком, бизнесменом. Так что я еще весной записался в «Общество путешественников-первопроходцев из публичных школ», — чтобы по-особенному провести август. Предводительствовал нашим обществом человек, который сопровождал капитана Скотта в его последней экспедиции к Южному полюсу; а теперь он набирал группу старшеклассников для исследования внутренних территорий острова Ньюфаундленд во время летних каникул. Звучало заманчиво.

И вот наконец я без малейших сожалений навсегда

распрощался с Рептоном и покатил домой, в Кент, на своем мотоцикле. Это была великолепная машина «Ариэл» с двигателем 500 кубических сантиметров, купленная мною годом раньше за восемнадцать фунтов, и пока я еще учился в Рептоне, я держал мотоцикл в гараже на Уиллинтон-роуд, примерно в трех километрах от школы. По воскресеньям я шел в гараж и уже там переодевался: шлем, очки, старый дождевик и высокие резиновые сапоги. Было так здорово с ревом мчаться по самому Рептону, оставаясь неузнанным, со свистом проносясь мимо учителей, прогуливающихся по улице, и нарочито огибая или подрезая фланирующих, по случаю воскресенья, боузеров из своей школы, выбирая самых вредных и самых заносчивых. Меня пробирала дрожь при мысли о том, что со мной сделают, если поймают. Но меня не поймали. Так что в последний день четверти я радостно газанул и укатил прочь, покидая школу на веки вечные. Мне еще и восемнадцати лет не исполнилось.

Дома я провел только двое суток, а потом отправился в Ньюфаундленд. Наш корабль вышел в море из Ливерпуля и через шесть суток прибыл в Сент-Джонз. В экспедиции участвовали около тридцати юношей моего возраста и четверо взрослых. Но Ньюфаундленд, как я вскоре понял, страна не очень-то, если вообще это страна. Три недели мы таскались по безлюдью, волоча на себе тяжеленную поклажу. Мы тащили в рюкзаках палатки, одежду, спальные мешки, кастрюли, еду, топоры и все прочее, что только может понадобиться в глубине необитаемой и негостеприимной страны. Я лично нес на себе, знаю точно, 114 фунтов, это 52 килограмма, и по утрам мне кто-то должен был помочь закинуть рюкзак на плечи. В дороге мы если и не голодали, то уж точно недоедали. Я даже помню, что мы пробовали обогащать наш рацион, отваривая лишайники и ягель — мох, который едят северные олени. Но все равно это было настоящее приключение, и я вернулся домой закаленным, возмужавшим и готовым ко всему.

Потом прошли два года трудной работы в «Шелл Компани» в Англии. В том году в нашей группе было семеро стажеров, и каждый старательно готовился, чтобы поехать в ту или иную тропическую страну. Мы неделями пропадали на огромном прибрежном нефтеочистительном комбинате «Шелл», где специальный инженер-преподаватель учил нас всему про мазут, дизельное топливо, машинное масло, солидол, керосин и бензин.

Немало месяцев мы провели в их главной штаб-квартире в Лондоне, изучая, как функционирует огромная компания изнутри. Я по-прежнему жил с матерью и тремя сестрами в Бексли, графство Кент, и каждое утро, шесть дней в неделю,

включая субботы, вставал в семь, завтракал, надевал серый костюм, коричневую мягкую фетровую шляпу и со сложенным зонтиком в руке садился в восемь пятнадцать на лондонский поезд вместе с другими так же одетыми джентльменами. Все мы были серьезные и почтенные — как же, господа садятся на поезд до Лондона, держа путь в свои конторы в лондонском Сити, чтобы заниматься финансовыми и прочими важными деловыми вопросами. Большинство моих попутчиков и товарищей по работе носили на голове котелки, и лишь изредка на немногих попадались такие же мягкие фетровые шляпы, как у меня, но никто из нас не посмел бы сесть в тот поезд 1934 года с непокрытой головой. Не положено было такое. И никто из нас, даже в солнечные дни, не выходил из дому без сложенного зонтика. Зонт служил отличительным знаком джентльмена. Простоволосые и без зонтика — мы почувствовали бы себя голыми. Дорожные ремонтники и водопроводчики на работу с зонтами не ходили. А бизнесмены — наоборот.

Мне такая жизнь нравилась. Нет, правда, в самом деле. Многим нравится эта простая жизнь — достаточно лишь следовать регулярному расписанию с четким кругом обязанностей и фиксированным окладом. И почти не требуется думать самому, тем более о том, что делать. Жизнь писателя — сущий ад по сравнению с жизнью делового человека. Писателю самому надо заставлять себя работать. Ему самому надо составлять свое расписание и назначать рабочие часы, а если он даже не подойдет к письменному столу, все равно никто его за это ругать не станет — некому. А если этот писатель еще и сочинитель, то каждый день требуются новые придумки, и никогда не знаешь, придут к тебе эти новые идеи или нет. Два часа сочинения и записывания очередной истории высасывают из писателя все соки. В эти два часа его тут нет, он за многие километры отсюда, где-то совсем в ином месте, в чужом краю с совсем другими людьми, и для того, чтобы вынырнуть оттуда и вернуться сюда, в обычную для себя среду, приходится очень много сил потратить. Это очень тяжело и трудно. Некоторые совсем дуреют, чтобы стать писателем. А единственная выгода ему за это — полнейшая, абсолютная свобода. О чем хочет — о том и пишет.

Компания «Шелл» вселяла в нас гордость. После двенадцати месяцев в главной конторе в Лондоне нас, стажеров, разослали по различным отделениям «Шелл», разбросанным по всей Англии, изучать коммивояжерство. Я попал в графство Сомерсет и провел несколько недель, продавая керосин в отдаленных деревнях. Кран

на цистерне моего бензовоза был устроен сзади, и, когда я заезжал в Шептон-Маллет, или Мидзомер-Нортон, или Паздаун-Сент-Джон, или Хинтон-Блуитт, или Темпл-Клуд, или Хьюин-Чампфлауэр, старые дамы и юные девушки, заслышав урчание моего автомобиля, выходили из своих коттеджей с бидонами и ведрами, чтобы купить несколько литров керосина для ламп и горелок. Молодому человеку заниматься таким делом — одна радость. Никто не надрывается, не выходит из себя, не сваливается с инфарктом… Продаешь себе керосин милым селянам, открывая краник в цистерне, в славный солнечный день в графстве Сомерсет — вот и вся работа!

Потом вдруг, в 1936 году, меня вызвали в главную контору в Лондон. Меня пожелал видеть один из директоров.

— Мы посылаем вас в Египет, — сказал он. — Командировка на три года, потом отпуск на шесть месяцев. Вы должны быть готовы к отъезду через неделю.

— О, нет, сэр! — вскричал я. — Только не в Египет! Мне совсем не хочется в Египет!

Директор аж завертелся в своем кресле от негодования.

— Египет, — медленно произнес он, — принадлежит к числу самых замечательных и наиболее важных регионов мира. Мы оказываем вам честь, посылая вас туда, а не в какую-то кишащую гнусом и мошкарой дыру!

Я молчал.

— А можно поинтересоваться, почему вам не хочется в Египет? — спросил он.

Я-то знал почему, но не знал, как ему объяснить. Я-то хотел, чтоб были и джунгли, и львы, и слоны, и стройные пальмы, и серебристые пляжи, а в Египте ничего такого не имелось. Египет — край пустынь. Песок, пирамиды и прочие памятники далекого прошлого… Никак не лежало у меня сердце ко всему этому.

— Так что не так с Египтом? — снова спросил у меня директор.

— Ну… там… там… — зазаикался я. — Там слишком пыльно, сэр.

Он изумленно уставился на меня.

— Слишком *что*? — вскричал он.

— Пыльно, — сказал я.

— Пыльно?! — изумился он. — Ах, слишком пыльно! В жизни такой ерунды не слыхивал!

Наступила долгая тишина. Я уже был готов к тому, что он скажет, чтобы я забирал шляпу и плащ и навсегда оставил его компанию. Но ничего такого он не сказал. Хороший был человек, и звали его мистер Годбер.

Он глубоко вздохнул, потер веки пальцами и сказал:

— Очень хорошо. Раз вы так хотите… В Египет вместо вас поедет Редферн, а вы в следующий раз будете обязаны согласиться занять любую предложенную вам должность, как только такая освободится, и неважно, пыльно там или нет. Вам ясно?

— Да, сэр, я это понимаю.

— Если в следующий раз освободится вакансия в Сибири, — сказал он, — вам придется согласиться занять ее.

— Я все прекрасно понимаю, сэр, — сказал я. — И я очень, очень вам благодарен.

Неделю спустя мистер Годбер снова вызвал меня к себе.

— Поедете в Восточную Африку, — сказал он.

— Ура! — завопил я, подскакивая от радости. — Замечательно! Жуть, как здорово!

Директор улыбнулся.

— Там тоже весьма пыльно, — сказал он.

— Львы! — восклицал я. — И слоны, и жирафы, и кокосы повсюду!

— Ваш корабль покидает лондонскую гавань через шесть суток, — сказал он. — Вы отбываете в Момбасу. Ваше жалованье будет пять тысяч фунтов стерлингов в год, а командировка продлится три года.

Мне было двадцать лет. Меня ожидало путешествие в Восточную Африку, где целый день я буду ходить в шортах цвета хаки и в пробковом шлеме на голове! Я был в полном восторге. Кинулся домой и все рассказал матери.

— Меня посылают туда на три года, — сказал я.

Я был ее единственным сыном, и мы были очень близки. Другая мать в подобных обстоятельствах, наверное, как-то бы показала, что расстроена, — ведь матери по большей части именно такие. Три года — срок долгий, а Африка — далеко. И ни разу за все это время не свидеться (отпуск нам в первые три года не полагался). Но моя мать не позволила себе даже намека на что-либо, что могло омрачить мою радость.

— Ух ты, какой ты молодец! — воскликнула она. — Замечательная новость! Ты ведь туда и хотел, правда?!

Вся семья отправилась в лондонский порт провожать меня. В те времена это было очень даже нешуточное дело — ехать в Африку, да еще такому молодому человеку. Только на дорогу уходило две недели: корабль шел по Бискайскому заливу, мимо Гибралтара, пересекал Средиземное море и, пройдя по Суэцкому каналу и Красному морю, заходил в Аден, чтобы затем прибыть в Момбасу. Какие замечательные перспективы открывались передо

мной! Я еду в край пальм, и кокосов, и коралловых рифов, и львов, и слонов, и ядовитых змей, а один знакомый в Лондоне, проживший в тех краях десять лет, рассказывал мне, что если укусит черная мамба, то через час умрешь в страшных корчах и с пеной на губах… Ужасно хотелось в дорогу.

Хоть я тогда этого и не знал, разлучался я с домом не на три года, а на куда больший срок, потому что как раз в середине моей командировки началась Вторая мировая война. Но еще до того я успел вволю насытиться всякими африканскими приключениями. Были и обжигающая жара, и крокодилы, и змеи, и долгие охотничьи сафари в глубине страны, где я сбывал нефтепродукты «Шелл» людям, управлявшим алмазными копями, и всяким плантаторам. Я научился говорить на суахили и вытряхивать скорпионов из своих сапог по утрам. Я узнал, каково это — заболеть малярией и трое суток валяться с температурой 40,6 °C, а также, как выживать вне всякой цивилизации, когда наступает дождливый сезон и вода заливает все вокруг, включая дорогу.

Когда в 1939 году началась война, я был в Дар-эс-Саламе, и оттуда я направился в Найроби, чтобы записаться добровольцем в Военно-воздушные силы. Через шесть месяцев я уже был военным летчиком, летал в одиночку над Средиземным морем, над пустынями Ливии, служил в Греции, Палестине, Сирии, Ираке и Египте. Я сбивал вражеские самолеты, и они сбивали меня. Однажды я провел шесть месяцев в госпитале в Александрии, а потом летал снова.

Но это все уже другая история, и я ее еще напишу…

Приложение
ЧУДЕСНАЯ ИСТОРИЯ ГЕНРИ ШУГАРА

Генри Шугару исполнился сорок один год. Он был богат и неженат. Богат он был благодаря ныне покойному отцу, а холост — из эгоизма: он не хотел делиться своими деньгами с какой-то там женой.

Ростом он был метр восемьдесят восемь, но выглядел далеко не так привлекательно, как ему самому это казалось.

Он уделял очень большое внимание своей одежде. Костюмы шил у дорогих портных, рубашки — тоже, даже обувь у него была сделана на заказ.

Лицо после бритья он орошал дорогим одеколоном, а чтобы кожа на ладонях всегда была нежной, втирал в нее крем на черепаховом масле.

Каждые десять дней он ходил в парикмахерскую подравнивать волосы и делать маникюр.

В огромную сумму обошлось ему новое покрытие передних зубов, чтобы избавиться от раздражавшего желтоватого оттенка. Крошечную родинку на левой щеке удалил хирург, специалист по пластическим операциям.

Ездил он на «Феррари», который обошелся ему почти в столько же, сколько стоил его загородный коттедж.

Летом он жил в Лондоне, но как только в октябре начинались первые заморозки, отправлялся в Вест-Индию или на юг Франции, где проводил время с друзьями. У всех его друзей было много денег, полученных в наследство.

Генри не работал ни единого дня в жизни, а его личный девиз, придуманный им самим, гласил: «Лучше маленькое безделье, чем большая работа». Друзьям это казалось необычайно остроумным.

Люди наподобие Генри Шугара могут оказаться где угодно, они, как трава, везде есть. Особенно заметны они бывают в Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Нассау, Монтего-Бей, Каннах и Сен-Тропезе. Они не совсем уж плохие люди. Но и не очень хорошие. Они никакие, и на самом деле ничего они не значат. Просто часть обстановки. Интерьер.

У всех богатых людей этого типа есть одна общая особенность: они ужасно хотели бы разбогатеть еще больше. Миллиона никогда не хватает. И двух миллионов тоже. Всегда

они страдают этой ненасытной алчностью, этим желанием заполучить еще больше денег. И живут они в вечном страхе, что проснутся однажды утром и обнаружат: в банке ничего не осталось.

Пробуя увеличить свои состояния, все эти люди пользуются одними и теми же способами. Они играют на бирже, скупают акции и следят за курсом: поднимается он или падает. Они — завсегдатаи казино, играют в карты, рулетку и на тотализаторе. Они заключают пари и готовы биться об заклад о чем угодно и на что угодно. Генри Шугар однажды отхватил тысячу фунтов стерлингов на черепашьих бегах, которые были устроены на теннисном корте лорда Ливерпуля. И он рисковал суммой вдвое большей, когда бился об заклад с человеком по имени Эзмонд Ханбури по ходу крайне глупого спора, суть которого состояла в следующем: они выпустили собаку Генри в сад и следили за ней в окно. Но прежде чем выпустить пса, оба спорщика должны были заранее угадать, на что животное задерет лапу. На стену, столб, куст или дерево? Эзмонд выбрал стену. Генри, специально ради такого случая изучавший повадки своей собаки, выбрал дерево и выиграл пари.

С помощью таких дурацких развлечений Генри и его друзья борются со смертной скукой своей праздной и богатой жизни.

Сам Генри, как вы должно быть заметили, был не прочь, если подворачивался случай, слегка надуть своих друзей. Спор о собаке явно нельзя назвать честным. Как и спор на черепашьих бегах. Генри подстроил итог, за час до начала состязаний тайком затолкав в рот той черепахи, на которую ставил его противник, растертую в порошок таблетку снотворного.

А теперь, когда вы в общих чертах поняли, что из себя представляет Генри Шугар, я могу начать историю.

Как-то летом в выходной день Генри Шугар ехал на автомобиле из Лондона в Гилфорд в гости к сэру Уильяму Уиндему. У того был великолепный дом, окруженный обширными угодьями, но Генри не повезло с погодой — шел дождь. Теннис отпадал, крокет и купание в открытом бассейне тоже. Хозяин и его гости уныло сидели в гостиной, глядя на капли дождя, стекающие по стеклам. Очень богатые люди невероятно обижаются на дурную погоду. Это единственное неудобство, с которым их деньги ничего не могут поделать.

Кто-то из присутствующих предложил:

— Давайте сыграем в канасту по самым высоким ставкам.

Идея всем пришлась по вкусу, но поскольку гостей было пятеро, кому-то предстояло оказаться вне игры, лишним.

Вытащили по одной карте из колоды. Генри досталась самая младшая, несчастливая двойка.

Остальные четверо сели играть. Генри надоело оставаться безучастным наблюдателем, и он вышел из гостиной в большой зал. Там он ненадолго задержался у картин, затем прогулялся по всему дому, скучая до смерти от того, что ему совсем нечего делать. Наконец забрел в библиотеку.

Отец сэра Уильяма славился своей библиотекой, и все четыре стены этого просторного помещения были заставлены от пола до потолка книгами. Но на Генри Шугара они не произвели никакого впечатления. Он даже не заинтересовался: читал он только детективные романы и триллеры. Он бесцельно послонялся по помещению, пытаясь отыскать хоть какую-нибудь книжку себе по вкусу. Но в библиотеке сэра Уильяма стояли лишь внушительные тома в кожаных переплетах с именами Бальзака, Ибсена, Вольтера, Джонсона и Толстого на корешках. Жуткая муть, сказал себе Генри. И уже собрался было уйти, как вдруг ему на глаза попалась непохожая на другие книга. Она была такая тоненькая, и если бы не торчала слегка из ровного ряда книг, он бы ее даже не заметил. Когда он снял ее с полки, то оказалось, что это всего лишь школьная тетрадь в картонной обложке. Обложка была темно-синей и без надписей. Генри открыл тетрадь. На первой странице печатными буквами было написано:

ИМРАТ ХАН,
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВИДЕТЬ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ
Беседу с Имрат Ханом записал доктор Джон Ф. Картрайт.
Бомбей, Индия, декабрь 1934.

Занятно, подумал Генри. И перевернул страницу. Вся тетрадь была исписана черными чернилами, аккуратным четким почерком. Первые две страницы Генри прочел стоя. И вдруг понял, что ему хочется читать дальше. Увлекательная оказалась история. Он поудобнее устроился в кожаном кресле у окна и начал читать с самого начала.

Вот что прочел Генри в синей тетрадке:

«Я, Джон Картрайт, хирург Центральной больницы Бомбея, утром второго декабря 1934 года находился в комнате отдыха врачей и пил чай в компании трех своих коллег — доктора Маршалла, доктора Филлипса и доктора Макфарлина. В дверь постучали.

— Войдите, — сказал я.

Дверь отворилась, и вошел индус.

— Простите великодушно. Могу я попросить вас об одолжении, господа? — улыбнулся он.

Комната отдыха врачей принадлежит только врачам, и это правило строго соблюдается. Никому, кроме врачей, не разрешается входить в нее, разве что в чрезвычайных обстоятельствах.

— Сюда нельзя, — резко сказал доктор Макфарлин.

— Да, да, — отвечал индус. — Я знаю и очень прошу простить меня за вторжение, но я хотел бы показать вам кое-что интересное, господа.

Мы все настолько устали, что никто ему ничего не ответил.

— Господа, — продолжал он, — я могу видеть с закрытыми глазами.

Мы все еще не приглашали его войти. Но и не прогоняли.

— Можете завязать мне глаза, — предложил он. — Можете наложить мне на голову полсотни бинтов, и я все равно смогу прочитать вам книгу.

Говорил он, как будто, вполне серьезно. Во мне шевельнулось любопытство.

— Идите сюда, — позвал я.

Он подошел.

— Повернитесь.

Он повернулся спиной.

Я плотно прижал руки к его глазам, придерживая пальцами веки.

— А теперь, — сказал я, — один из врачей, присутствующих в этой комнате, будет загибать и разгибать пальцы на руке. А вы скажете, сколько пальцев он показывает.

Доктор Маршалл поднял семь пальцев.

— Семь, — сказал индус.

— Еще раз, — скомандовал я.

Доктор Маршалл сжал кулаки и спрятал в них все свои пальцы.

— Ни одного пальца, — сказал индус.

Я убрал ладони с его глаз.

— Неплохо, — сказал я.

— Подождите, — сказал доктор Маршалл. — Давайте попробуем вот это.

На крючке висел белый медицинский халат. Доктор Маршалл снял его и скрутил так, что получилось что-то наподобие длинного шарфа. Потом он обмотал этим шарфом голову индуса и крепко связал концы на затылке.

— Теперь попробуем вот так.

Я вынул ключ из кармана.

— Что это? — спросил я.

— Ключ, — отвечал он.

Я убрал ключ и поднял пустую ладонь.

— А это что за предмет?

— Нет никакого предмета, — сказал индус. — Ваша рука — пуста.

Доктор Маршалл снял повязку с глаз гостя.

— Как вам это удается? — поинтересовался он. — В чем хитрость?

— Никакой хитрости, — покачал головой индус. — Это настоящее искусство, которому я научился благодаря многолетним упражнениям.

— Что за упражнения? — спросил я.

— Прошу прощения, сэр, — ответил он. — Но это тайна.

— А зачем тогда вы пришли? — удивился я.

— Попросить вас об одолжении.

Индус был высоким мужчиной лет тридцати со светло-коричневой кожей цвета кокосового ореха и маленькими черными усиками, в ушах тоже росли волосы. Одет он был в белый хлопчатобумажный балахон и сандалии на босу ногу.

— Видите ли, господа, — продолжал он, — в настоящее время я зарабатываю на жизнь выступлениями в бродячем цирке, и мы только что прибыли сюда, в Бомбей. Вечером у нас первое представление.

— Где вы выступаете? — спросил я.

— В зале «Ройял-Палас», — ответил он. — На улице Акаций. У меня главный номер в программе. В афише я объявлен как «Имрат Хан, человек, который видит с закрытыми глазами». Я должен сделать громкую рекламу нашему шоу. Если мы не распродадим билеты, останемся голодными.

— Ну а мы здесь при чем? — спросил я его.

— Вас это заинтересует, — заверил он. — Будет очень весело. Позвольте, я объясню. Каждый раз, когда наш цирк приезжает в новый город, я сразу иду в самую крупную больницу и прошу врачей забинтовать мне глаза, причем самым изощренным образом. Они должны наложить множество тугих повязок так, чтобы я ничего не мог видеть. Очень важно, чтобы это сделали именно врачи, иначе меня могут счесть обманщиком. Потом я выхожу на улицу с забинтованными глазами и делаю что-нибудь очень опасное.

— Что вы имеете в виду? — не понял я.

— Я делаю нечто крайне опасное для слепого человека.

— И что же вы делаете? — спросил я.

— Нечто очень интересное, — ответил он. — Вы сами

увидите, если потратите немного времени и забинтуете мне голову. Вы окажете мне огромную услугу, господа, если сделаете для меня эту мелочь.

Я взглянул на остальных троих врачей. Доктор Филлипс сказал, что должен вернуться к своим больным. Доктор Макферлин сказал то же самое.

— Почему бы и нет? — пожал плечами доктор Маршалл. — Может, и правда увидим нечто занятное. Да и времени много не займет — за минуту управимся.

— Я с вами, — сказал я. — Только давайте сделаем все как следует. Чтобы он наверняка ничего не видел.

— Вы очень добры, — поклонился индус. — Прошу вас, поступайте, как вам угодно.

Доктор Филлипс и доктор Макфарлин вышли из комнаты.

— Прежде чем накладывать повязку, — сказал я доктору Маршаллу, — давайте для начала склеим ему веки. А потом заполним глазницы чем-нибудь мягким, плотным и липким.

— Чем, например? — спросил доктор Маршалл.

— Что если тестом?

— Отличная идея, — согласился доктор Маршалл.

— Сделаем так, — предложил я. — Вы сходите в больничную пекарню за тестом, а я тем временем отведу его в операционную и заклею веки.

Мы с индусом вышли из комнаты отдыха, и я отвел его по длинному больничному коридору в операционную.

— Ложитесь, — указал я на высокую кровать.

Он повиновался. Я достал из шкафа пузырек с пипеткой на конце.

— В этом пузырьке коллодий, — пояснил я. — Он прочно склеит ваши веки, и вы не сможете открыть глаза.

— Как удалить его потом? — спросил он.

— Протрите спиртом, и он сразу растворится, — сказал я. — Коллодий совершенно безвреден. А теперь закройте глаза.

Индус закрыл глаза, и я наложил коллодий на его веки.

— Не открывайте, — предупредил я. — Подождите, пока коллодий затвердеет.

Через пару минут образовалась прочная пленка, которая намертво склеила веки.

— Попробуйте открыть, — предложил я.

У него ничего не вышло.

Вернулся доктор Маршалл с миской теста — самого обыкновенного белого теста, из которого выпекают хлеб. Отщипнув кусочек, я залепил им один глаз. Заполнил тестом всю глазницу и немного вокруг. Потом плотно прижал по краям. То

же самое проделал со вторым глазом.

— Не очень мешает? — спросил я.

— Нет, — ответил индус. — Все замечательно.

— Забинтуйте его, — обратился я к доктору Маршаллу. — У меня пальцы липкие.

— С удовольствием, — отозвался тот. — Смотрите. — Он взял большой ватный тампон и положил на залепленные тестом глаза индуса. Вата прилипла к тесту и не падала. Он попросил гостя сесть.

Индус сел на кровать.

Доктор Маршалл взял восьмисантиметровый бинт и принялся обматывать им голову. Бинт плотно прижимал вату и тесто к глазам. Доктор Маршалл закрепил повязку. Потом наложил вторую повязку, обматывая бинтом не только глаза, но и лицо с головой.

— Нос не бинтуйте, пожалуйста, чтобы я мог дышать, — попросил гость.

— Разумеется, — отозвался доктор Маршалл. И, закончив работу, крепко стянул концы бинта. — Ну как? — спросил он.

— Блестяще, — похвалил я. — Сквозь такую повязку он точно ничего не увидит.

Теперь всю голову индуса покрывала плотная белая повязка, из-под которой торчал лишь кончик носа. Он был похож на человека, которому сделали обширную операцию на мозге.

— Как чувствуете себя? — спросил его доктор Маршалл.

— Превосходно, — ответил индус. — Вы великолепно поработали. Благодарю.

— Ну тогда вперед, — сказал доктор Маршалл, подмигнув мне. — Посмотрим, как вы обойдетесь без глаз.

Индус поднялся с кровати и направился прямиком к двери. Отворив ее, он вышел.

— Боже правый! — воскликнул я. — Вы видели? Он не раздумывая положил руку на дверную ручку!

Улыбка слетела с лица доктора Маршалла. Краска отхлынула от его лица.

— Я пойду за ним, — сказал он, устремившись к выходу. Я бросился следом.

Индус уверенно шел по больничному коридору. Мы с доктором Маршаллом отставали от него метров на пять. Я с тревогой смотрел на человека с огромной, замотанной в бинты белой головой, как ни в чем не бывало шагающего по коридору. Мне стало не по себе при мысли, что веки у него заклеены, а глазницы заполнены тестом, поверх которого лежит толстый слой ваты и тугая повязка.

Я увидел санитара-туземца, идущего по коридору навстречу индусу. Он катил тележку с едой. Внезапно санитар заметил белоголового и замер на месте. Забинтованный индус спокойно обогнул тележку и пошел дальше.

— Он ее видел! — закричал я. — Точно видел! Он обошел ее! Уму непостижимо!

Доктор Маршалл не отозвался. Щеки у него побелели, на лице застыло выражение ошеломленного недоверия.

Индус вышел на лестницу и стал спускаться по ступенькам.

Он спускался легкой уверенной походкой. Он даже не брался за перила. Навстречу ему по лестнице шли люди. Увидев его, они разом остановились и в изумлении уставились на него. Потом поспешно уступили дорогу.

На последней ступеньке индус повернул вправо и направился к двери на улицу. Мы с доктором Маршаллом следовали за ним по пятам.

Парадный подъезд нашей больницы не выходит прямо на улицу, а располагается в глубине, и, пройдя через входные двери, надо спуститься по длинной лестнице, чтобы попасть в дворик, окаймленный акациями. Мы с доктором Маршаллом вышли на яркий солнечный свет и остановились на верхней ступеньке. Во дворике собралась толпа, человек, наверное, в сто. По меньшей мере половину из них составляли босоногие дети, и когда наш белоголовый индус появился на ступеньках, все они с радостными криками бросились ему навстречу. Он приветствовал их, подняв обе руки над головой.

И тут вдруг я заметил велосипед. Он стоял у самой нижней ступеньки, его придерживал маленький мальчик. Это был самый обычный велосипед, но на раме заднего колеса красовался огромный плакат. На плакате были написано:

ИМРАТ ХАН, ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ВИДИТ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ!
ВРАЧИ ЗАБИНТОВАЛИ МНЕ ГЛАЗА!
СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ И ВСЮ ЭТУ НЕДЕЛЮ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЗАЛЕ «РОЙЯЛ-ПАЛАС», УЛИЦА АКАЦИЙ, НАЧАЛО В 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА.
НЕ ПРОПУСТИТЕ!
ВЫ УВИДИТЕ НАСТОЯЩИЕ ЧУДЕСА!

Спустившись вниз, наш индус без колебаний направился прямо к велосипеду. Он что-то сказал мальчишке, и тот улыбнулся. Индус взобрался на велосипед. Толпа перед ним расступилась. И — подумать только! — этот человек с заклеенными и забинтованными глазами покатил себе через

дворик и влился прямо в шумную, надрывающуюся автомобильными клаксонами суету уличного движения!

Толпа визжала от восторга. Босоногая детвора бежала за ним с воплями и хохотом. Минуту-две мы еще видели, как он мастерски едет по оживленной улице. Мимо него со свистом проносились машины. Стайка ребятишек вприпрыжку бежала следом. Потом он свернул за угол и пропал из вида.

— У меня голова кругом идет, — проговорил доктор Маршалл. — Поверить не могу.

— Придется поверить, — сказал я. — Не мог он вытащить тесто из-под бинтов. Мы же глаз с него не спускали. Не говоря уж про склеенные веки: чтобы открыть глаза, ему придется минут пять потрудиться, да еще вата нужна и спирт.

— Знаете что, — сказал доктор Маршалл. — По-моему, мы видели чудо.

Мы развернулись и медленно побрели назад в больницу.

До конца рабочего дня (продолжал читать Генри Шугар) я занимался с больными. В шесть вечера сдал дежурство и поехал домой, чтобы принять душ и переодеться. В это время года в Бомбее стоит страшная жара, и даже после захода солнца не становится легче. Можно целый день просидеть в кресле, ничего не делая, и все равно истечешь потом. Лицо влажно блестит, а рубашка прилипает к телу. Я принял холодный душ, выпил виски с содовой, сидя на веранде в одном лишь полотенце, обернутом вокруг бедер. Потом оделся во все чистое.

Без десяти семь я стоял возле «Ройял-Паласа» на улице Акаций. Зал не произвел на меня впечатления. Обычный обшарпанный зальчик, которые снимают за небольшую плату для проведения собраний или танцевальных вечеров. У кассы собралась внушительная толпа местных жителей. Над входом висела огромная афиша, объявляющая, что *Международный театр* на этой неделе дает ежевечерние представления. Сообщалось, что будут жонглеры, фокусники, акробаты, шпагоглотатели, пожиратели огня, заклинатели змей, а также одноактная пьеса под названием «Раджа и госпожа Тигрица». В верхней части афиши крупными буквами было выведено: *Имрат Хан, чудо-человек, который видит с закрытыми глазами.*

Я купил билет и вошел в зал.

Представление продолжалось два часа. К моему удивлению, я получил громадное удовольствие. Все артисты выступали превосходно. Мне понравился человек, жонглировавший кухонной утварью. Он одновременно подбрасывал в воздух кастрюлю, сковороду, противень, гигантское блюдо и глиняный

горшок. Заклинатель змей заставлял огромную змею вытягиваться вверх, чуть ли не вставать на самый кончик хвоста и раскачиваться в такт звукам флейты. Пожиратель огня пожирал огонь, а шпагоглотатель заглатывал тонкую острую рапиру по самую рукоятку. И наконец под гром фанфар и труб на сцену вышел наш знакомец Имрат Хан. Без повязки, которую мы наложили ему в больнице.

Зрителям предложили подняться на сцену и завязать ему глаза простынями, шарфами, тюрбанами, и в конечном счете на его голову навертели столько ткани, что он едва удерживал равновесие. Потом ему вручили револьвер. Появился маленький мальчик и встал у левого края сцены. Я узнал в нем мальчишку, который утром придерживал велосипед у входа в больницу. Мальчик поставил жестяную банку себе на голову и замер. Имрат Хан прицелился, и в зале воцарилась мертвая тишина. Он выстрелил. Все зрители повскакивали со своих мест. Жестянка слетела с головы мальчика и звонко покатилась по сцене. Мальчик подхватил банку и показал залу пробитую пулей дыру. Все захлопали и восторженно закричали. Мальчишка улыбнулся.

Потом мальчик встал у деревянного щита, а Имрат Хан метал ножи, обрисовывая его контур, причем ножи почти касались тела ребенка. Великолепный номер. Немногие способны метать ножи с такой точностью даже с открытыми глазами, а этот удивительный человек с головой, похожей на снежный ком, швырял острые ножи в щит в миллиметре от головы напарника. Мальчик все время улыбался, и когда номер закончился, зрители в зале затопали ногами и завопили от восторга.

Последний номер Имрат Хана, хоть и не столь зрелищный, произвел на меня глубокое впечатление. На сцену вынесли металлический бочонок. Зрителям предложили осмотреть его и убедиться, что в металле нет отверстий. Отверстий не было. Затем бочонок водрузили на обмотанную тряпками голову Имрат Хана. Бочонок доходил ему до локтей, прижимая руки к бокам. Но кисти могли свободно двигаться. В одну ладонь ему вложили иглу, в другую — нитку. Не сделав ни одного неверного движения, он ловко вдел нитку в ушко иголки. Я был ошеломлен.

После представления я прошел за кулисы. Имрат Хан молча сидел на деревянном стуле в маленькой, но чистой уборной. Мальчик сматывал ему с головы груды шарфов и простыней.

— А, — произнес он. — Мой знакомый врач из больницы. Входите, сэр, прошу вас.

— Я был на представлении, — сообщил я.

— И что скажете?

— Мне очень понравилось. У вас потрясающий номер.

— Благодарю вас, — сказал он. — Это высокая похвала.

— Должен поздравить также и вашего помощника, — добавил я, кивая на мальчика. — Он очень отважный.

— Он не говорит по-английски, — сказал индус. — Но я переведу ему ваши слова. — Он быстро заговорил на хинди, и мальчик важно кивнул, но не произнес ни слова.

Наконец с его головы сняли все повязки.

— Послушайте, — продолжал я. — Сегодня утром я оказал вам небольшую услугу. Могу теперь я попросить вас об одолжении? Не согласитесь ли поужинать со мной?

— Кажется, вы заинтригованы, доктор. Я угадал?

— Страшно заинтригован, — признался я. — Мне бы хотелось поговорить с вами.

Меня вновь поразила необычайно густая растительность, покрывавшая его уши. Ни у одного человека я не видел ничего подобного.

— Врачи меня еще не расспрашивали, — сказал он. — Но я не возражаю. С удовольствием поужинаю с вами.

— Мне подождать в машине?

— Да, пожалуйста, — кивнул он. — Мне нужно умыться и переодеться.

Я объяснил ему, как выглядит мой автомобиль, и сказал, что подожду на улице.

Он появился через пятнадцать минут в белом хлопчатобумажном одеянии и в сандалиях на босу ногу. Вскоре мы удобно сидели в небольшом ресторанчике, куда я подчас захожу, потому что там готовят лучшее карри в городе. Я запивал карри пивом. Имрат Хан пил лимонад.

— Я не писатель, — сказал я ему. — Я врач. Но если вы расскажете мне вашу историю с самого начала, если вы объясните мне, как вам удалось развить в себе эту удивительную способность видеть с закрытыми глазами, я запишу ее со всеми мельчайшими подробностями. Может быть, мне удастся опубликовать свои записи в «Британском медицинском журнале» или даже в более популярном издании. А поскольку я именно врач, а не просто какой-то сочинитель, который пишет ради денег, люди серьезно отнесутся к моим словам. И вы приобретете широкую известность.

— Да, мне бы это не помешало, — согласился он. — Но вам-то это зачем?

— Я сгораю от любопытства. Это единственная причина.

Имрат Хан отправил в рот немного риса с карри и медленно прожевал. Потом сказал:

— Ладно, друг мой. Я согласен.

— Замечательно! — обрадовался я. — После ужина поедем ко мне домой и поговорим. Там нам никто не помешает.

Наконец мы насытились, я заплатил по счету и отвез Имрат Хана к себе.

В гостиной я достал бумагу и карандаши, с тем чтобы делать заметки. У меня выработалась своя личная система скорописи, которой я пользуюсь в работе с медицинскими историями пациентов, и с ее помощью мне удается записывать весь разговор, не пропуская ни одного слова, если только собеседник говорит не слишком быстро. Думаю, я записал все, что в тот вечер рассказал мне Имрат Хан, слово в слово. Вот его история:

«Я — индиец, индус, — начал Имрат Хан, — родился в Ахнуре, штат Кашмир, в 1905 году. Семья наша бедная, мой отец работал билетным контролером на железной дороге. Когда мне было тринадцать лет, в нашу школу пришел индийский чародей и дал представление. Звали его, как сейчас помню, профессор Мур — все фокусники в Индии называют себя профессорами, — и он показывал замечательные фокусы. Я был поражен. Думаю: вот настоящее волшебство. Чувствую — как бы вам это сказать — чувствую мощное желание самому научиться этому волшебству, так что через два дня я бегу из дому, решив отыскать своего нового кумира, профессора Мура, и последовать за ним. Беру все свои сбережения, четырнадцать рупий, и всю свою одежду — ту, что на мне. А ношу я белое дхоти (так в Индии называют набедренную повязку) и сандалии. Это 1918 год, и мне, повторяю, тринадцать лет.

Выясняется, что профессор Мур уехал в Лахор, это за двести миль, и вот я, совсем один, беру билет в третий класс, сажусь на поезд и еду за ним. В Лахоре я нахожу профессора. Он показывает свои фокусы в каком-то балагане. Рассказываю ему о своем восхищении и прошусь к нему в помощники. Он меня принимает. Сколько мне платят? Восемь анна в день.

Профессор учит меня делать фокус со сцепленными кольцами, и моя работа — стоять на улице перед цирком, показывая этот фокус, и зазывать народ на представление.

Целых шесть недель мне это очень нравилось. Куда лучше, чем ходить в школу. Но потом вдруг — как гром среди ясного неба. Я понимаю, что профессор Мур — никакой не чародей, все его фокусы — обыкновенная ловкость рук и больше ничего. Профессор тотчас перестает быть моим героем. Я теряю всякий интерес к работе. Но в то же самое время все мое сознание наполняется огромным желанием познать основы настоящей магии и понять, что за странная сила таится в учении йоги.

Значит, я должен найти йога, который позволит мне стать его учеником. Мне предстоит нелегкая задача. Настоящие йоги на деревьях не растут. Их очень мало во всей Индии. И еще, они — религиозные фанатики. Следовательно, если я хочу отыскать учителя, мне придется тоже изображать из себя очень религиозного человека.

Нет, на самом деле я не религиозен. Поэтому вы, наверное, сочтете меня мошенником. Я хотел стать йогом только ради себя. Чтобы с помощью этих знаний добиться славы и богатства.

Но это противоречит истинной философии йогов. Настоящий йог искренне верит, что если станет злоупотреблять своими силами, то умрет ранней и внезапной смертью. Йог никогда не должен выступать на людях. Он должен заниматься своим искусством только в полном уединении и только как религиозным ритуалом, иначе его ждет неминуемая смерть. Я никогда в это не верил и не верю до сих пор.

И вот начались поиски йога-наставника. Я оставил профессора Мура и поехал в город Амритсар, в Пенджабе, где присоединился к труппе бродячих артистов. Мне же надо на что-то жить, пока я ищу учителя, а в свое время я успешно выступал в школьной самодеятельности. Так вот, три года я бродил с этим цирком по всему Пенджабу и выступал с лучшими номерами нашей программы. Мне тогда было уже шестнадцать с половиной. Все это время я копил деньги, и у меня собралась огромная сумма — две тысячи рупий.

И вдруг до меня доходят слухи о человеке по имени Банержи. Как утверждает молва, этот Банержи — один из величайших йогов Индии и обладает невероятными способностями. Говорят, он получил редкий дар левитации: когда он молится, его тело поднимается и зависает в полуметре над землей.

Ага, думаю. Вот он-то мне и нужен. Его я и должен отыскать. Взяв свои сбережения, я оставляю цирковую труппу и устремляюсь в Ришикеш, на берега Ганга, где, по слухам, живет Банержи.

Шесть месяцев я ищу Банержи. Где он? Где? Где Банержи? Да, говорят мне в Ришикеше, Банержи определенно был в городе, но давно, а потом его никто не видел. А где он сейчас? А сейчас Банержи ушел в другое место. Что за другое место? Ах, говорят, да кто это может знать. И в самом деле, как люди узнают о перемещениях такого человека, как Банержи? Ведь он живет в полной изоляции от мира. Или нет? И я говорю: да. Да, да, да. Конечно. Это очевидно. Даже для меня.

Я трачу все свои сбережения, пытаясь найти Банержи. Но тщетно. Тогда я остаюсь в Ришикеше и зарабатываю на жизнь,

показывая обыкновенные фокусы. Этим фокусам я научился у профессора Мура, а природа наградила меня ловкими руками.

Однажды сижу я в небольшой гостинице в Ришикеше и снова слышу разговор про йога Банержи. Один странник говорит, что слышал, будто Банержи сейчас живет совсем один в джунглях, в непролазной чаще неподалеку отсюда. Но где? Странник не знает точно.

— Наверное, — говорит он, — где-то там, в той стороне, к северу от города, — и показывает пальцем.

Ну что ж, мне и этого достаточно. Я иду на рынок, чтобы нанять тонгу — лошадь с двуколкой, — и только мы с возницей сошлись в цене, как к нам подходит человек, который слышал наш разговор, и говорит, что ему с нами по пути. Если я соглашусь подвезти его, он готов взять на себя часть расходов. Я, конечно, с радостью соглашаюсь, и мы отправляемся в путь. Мы с попутчиком сидим в двуколке, а возница правит лошадью. Узкая дорожка ведет прямо в джунгли.

И тут мне фантастически повезло! В разговоре выясняется, что мой попутчик — ученик того самого великого Банержи и сейчас он едет к своему наставнику. Недолго думая, я говорю ему, что тоже хотел бы стать учеником этого йога.

Он поворачивается и молча смотрит на меня минуты, наверное, три. Потом тихо отвечает:

— Нет, это невозможно.

Ладно, говорю я себе, увидим. И спрашиваю, правда ли Банержи левитирует, когда молится.

— Да, — отвечает, — правда. Но никто этого не видит. Никому не дозволяется приближаться к Банержи, когда он молится.

Едем дальше и все время говорим о Банержи. Я осторожно расспрашиваю его и выясняю некоторые подробности из жизни Банержи, в том числе и время его молитв. Вскоре мой спутник говорит, что приехал, и прощается со мной.

Я высаживаю его и делаю вид, что еду дальше, но за поворотом велю вознице остановиться и ждать меня. Быстро спрыгиваю на землю и тайком возвращаюсь назад, высматривая того человека, ученика Банержи. На дороге его нет. Он уже скрылся в джунглях. Но куда он пошел? В какую сторону от дороги? Я тихо стою и прислушиваюсь.

Внезапно до меня доносится тихий шорох из подлеска. Вот он, говорю я себе. Если не он, тогда тигр. Но это он. Я вижу его впереди. Он идет, продираясь сквозь густые заросли. Там нет даже маленькой тропки, и ему приходится пробираться между высокими бамбуками, среди буйной растительности. Я крадусь за

ним. Держусь от него подальше — боюсь, как бы он меня не услышал. Я-то его, конечно, слышу. Ни один человек не способен бесшумно передвигаться по джунглям, и когда я теряю его из вида — а это происходит постоянно, — то иду на звук его шагов.

Примерно полчаса мы играем в «догонялки». Внезапно звук его шагов пропадает. Я останавливаюсь и прислушиваюсь. Джунгли молчат. Я в ужасе — вдруг я его потерял? Прохожу немного вперед и неожиданно вижу сквозь густой подлесок небольшую поляну, а посреди поляны — две хижины. Маленькие хижины из листвы и веток деревьев. Сердце мое выпрыгивает из груди, меня охватывает страшное волнение, потому что я знаю наверняка, что здесь живет Банержи, тот самый йог.

Ученик исчез. Наверное, зашел в одну из хижин. Вокруг тишина. Я провожу тщательный осмотр близлежащих кустов и деревьев. Неподалеку от хижины вижу ямку с водой и рядом с ней молитвенный коврик — значит, говорю я себе, здесь Банержи медитирует и молится. Метрах в тридцати от ямки растет огромный развесистый баобаб с такими толстыми ветками, что на них можно поставить кровать и лежать там, оставаясь незамеченным. Отличное дерево, говорю я себе. Спрячусь на нем и дождусь Банержи. Он будет молиться, и я все увижу.

Но ученик сказал мне, что молитва начинается не раньше пяти или шести часов вечера, так что у меня есть еще несколько часов. Я возвращаюсь на дорогу к вознице тонги. Говорю ему, что он должен меня подождать. Приходится доплатить ему, но меня это не волнует — я страшно взволнован и забыл обо всем, даже о деньгах.

Время полуденного зноя и тяжкой влажной жары джунглей я пережидаю около тонги. Ближе к пяти часам, продираясь сквозь чащу буйной растительности, потихоньку возвращаюсь к хижине. Сердце колотится как безумное, все тело сотрясает страшная дрожь от нервного напряжения. Я быстро залезаю на дерево и прячусь в листве. Здесь меня никто не заметит, зато мне все прекрасно видно. И жду. Жду сорок пять минут.

Часы? Да, на мне были наручные часы. Я точно помню. Эти часы я выиграл в лотерею и очень ими гордился. На циферблате часов стояло имя изготовителя: «Исламия Уотч Компани, Лудхиана». Я собираюсь провести тщательный хронометраж увиденного, запомнить все подробности этого необыкновенного зрелища.

Сижу на дереве, жду.

Вдруг из хижины выходит высокий худой человек в оранжевом дхоти. Он несет поднос с медными горшочками и дымящимися благовониями. Садится, скрестив ноги на коврике у

ямки с водой, и ставит поднос перед собой на землю. Все его движения кажутся спокойными и плавными. Он наклоняется, зачерпывает пригоршню воды из ямки и выливает ее через плечо. Берет курильницу и медленно, мягкими скользящими движениями проводит ею взад и вперед по груди. Кладет руки ладонями вниз на колени. Замирает. Делает глубокий вдох. Он втягивает ноздрями воздух, и вдруг через секунду его лицо преображается. Оно озаряется каким-то светом… От него исходит сияние, и я вижу, как его лицо меняется.

Четырнадцать минут он неподвижно сидит в этой позе, а потом я вижу, совершенно отчетливо вижу, как его тело медленно… медленно… медленно отрывается от земли. Он все так же сидит со скрещенными ногами и ладонями на коленях, а его тело медленно поднимается над землей. Между ним и землей появляется просвет. Просвет постепенно увеличивается… Тридцать сантиметров… сорок… сорок пять… полметра… И вскоре он поднимается на шестьдесят сантиметров над молитвенным ковриком.

Я замер на дереве и, наблюдая, постоянно твержу себе: смотри в оба. Прямо перед тобой, в каких-то тридцати метрах отсюда человек безмятежно висит в воздухе. Ты его видишь? Да, вижу. Но ты уверен, что это не мираж? Может, у тебя галлюцинации? Уверен, что это не обман зрения? Да, уверен. Уверен! Смотрю на него в полном изумлении. Долго не могу оторвать от него глаз, и через некоторое время тело начинает медленно опускаться на землю. Я вижу, как оно медленно, плавно движется вниз и наконец вновь садится на коврик.

Я засек время — по моим часам, тело продержалось в воздухе сорок шесть минут!

А потом долго-долго, более двух часов он сидит в застывшей позе, словно каменное изваяние, без единого движения. Кажется, даже не дышит. Глаза закрыты, на просветленном лице блуждает улыбка — с тех пор я ни у кого больше не видел такого умиротворенного выражения лица.

Наконец он начинает шевелиться. Двигает руками. Встает. Снова нагибается. Берет поднос и медленно идет в хижину. Я потрясен увиденным чудом. Я в исступлении. Забываю про всякую осторожность, быстро слезаю с дерева, бегу прямо к хижине и влетаю в дверь. Банержи, склонившись, моет ноги и руки в тазике. Он сидит ко мне спиной, но слышит меня, быстро оборачивается и выпрямляется. На его лице большое удивление, и первое, что он мне говорит: «Ты тут давно?» — говорит резко, словно бы ему неприятно.

Я не задумываясь выкладываю ему всю правду. Рассказываю,

как сидел на дереве и следил за ним. Потом говорю ему, что больше всего на свете хочу стать его учеником, ничего другого мне в жизни не нужно. Пожалуйста, прошу я его, пусть он позволит мне стать его учеником!

Он приходит в бешенство. Вне себя от ярости он кричит на меня.

— Вон! — кричит он. — Вон отсюда! Вон! Вон! Вон! — В ярости хватает небольшой кирпич и швыряет его в меня. Тот вонзается мне в правую ногу чуть пониже колена. У меня до сих пор остался шрам. Сейчас покажу. Вот, видите, под коленкой.

Гнев Банержи ужасен. В страхе я поворачиваюсь и убегаю. Пулей несусь через джунгли к тому месту, где меня ждет возница тонги, и мы едем домой в Ришикеш. Но ночью я преодолеваю страх и принимаю решение: каждый день буду возвращаться в хижину Банержи и не отстану от него, и в конце концов ему придется взять меня в ученики — хотя бы для того, чтобы обрести покой.

Так я и делаю. Ежедневно хожу к нему, и каждый день он обрушивает на меня лавину гнева. Он кричит и топает ногами, а я стою, сжавшись от страха, но тем не менее упрямо твержу о своем желании стать его учеником. И так пять дней. На шестой день Банержи вдруг успокаивается и ведет себя довольно вежливо. Он объясняет, что не может взять меня в ученики. Но он даст мне записку, говорит он, к своему другу, великому йогу, который живет в Хардваре. Он мне поможет и всему научит».

Имрат Хан прервал свой рассказ и попросил у меня попить. Я принес ему стакан воды. Сделав большой глоток, он продолжил рассказ.

«Дело происходит в 1922 году, и мне почти семнадцать. Итак, я отправляюсь в Хардвар. Нахожу того йога, и благодаря письму от великого Банержи он соглашается давать мне уроки.

Что это за уроки?

Безусловно, это самая важная часть дела. Именно к этому я стремился, это искал, так что не сомневайтесь — я с головой окунаюсь в учебу.

Начальная стадия обучения посвящена сложнейшим физическим упражнениям, с помощью которых я учился контролировать свои мышцы и дыхание. Но после нескольких недель тренировок даже самый усердный ученик теряет терпение. Я говорю йогу, что хочу развивать психические способности, а не физические.

— Если ты научишься управлять своим телом, — отвечает

он, — то своим разумом будешь управлять уже автоматически.

Но я хочу все сразу и продолжаю упрашивать его. В конце концов он сдается:

— Ладно, дам тебе несколько упражнений, которые научат тебя концентрировать свое сознание.

— Сознание? — удивляюсь я. — При чем тут сознание?

— Каждый человек обладает двумя видами разума: сознанием и подсознанием. Подсознание имеет высокую способность концентрации, однако сознание — а именно этим видом разума мы пользуемся в повседневной жизни — у нас рассеянное, мы не умеем его концентрировать. Оно сосредотачивается на тысяче всяких мелочей — на том, что мы видим и о чем думаем. Так вот, тебе нужно научиться сосредотачивать свое сознание таким образом, чтобы ты мог мысленно увидеть один предмет по своему выбору, но только один, и больше ничего другого. Если будешь упорно работать, то научишься удерживать визуальный образ любого выбранного тобой предмета в своем мозгу, в своем сознании не менее трех с половиной минут. Но на это уйдет лет пятнадцать.

— Пятнадцать лет! — в ужасе кричу я.

— Может, и больше, — говорит он. — Но, как правило, на это уходит не больше пятнадцати лет.

— Но к тому времени я стану стариком!

— Не отчаивайся, — говорит йог. — Разным людям требуется разное время. Некоторые учатся десять лет, другие — таких немного — чуть меньше, и в очень редких случаях встречается особенный человек, которому удается развить в себе эту способность всего за год или два. Но такой человек попадается один на миллион.

— Кто они, эти выдающиеся люди? — спрашиваю я. — Они отличаются от других?

— Внешне они ничем не отличаются, — говорит он. — Особенным человеком может оказаться простой дворник или фабричный рабочий. Или раджа. Не угадаешь, пока не начнется обучение.

— Неужели так трудно сосредоточиться на одном предмете в течение трех с половиной минут? — недоумеваю я.

— Почти невозможно, — отвечает. — Попробуй и узнаешь. Закрой глаза и думай о чем-нибудь. Думай только об одном предмете. Мысленно представляй его. И через несколько секунд твое сознание начнет рассеиваться. В него просочатся другие мысли. Возникнут иные образы. Это очень трудно.

Так говорил йог из Хардвара.

Так начинается настоящая учеба. Каждый вечер я сажусь,

закрываю глаза и пытаюсь представить лицо человека, которого люблю больше всех на свете, — своего брата. Но в ту же секунду сознание рассеивается. Я прекращаю упражнение и несколько минут отдыхаю. Потом пробую снова.

Через три года ежедневных упражнений я могу полностью сосредоточиться на лице брата в течение полутора минут. Я делаю успехи. Но вот что интересно: в результате этих упражнений у меня начисто пропадает обоняние. Оно до сих пор ко мне не вернулось.

Потом необходимость зарабатывать себе на жизнь заставляет меня покинуть Хардвар. Я еду в Калькутту, где гораздо больше возможностей, и вскоре начинаю зарабатывать вполне приличные деньги, показывая фокусы. Но не оставляю своих занятий. Каждый вечер, где бы я ни был, я устраиваюсь в тихом углу и упражняюсь в концентрации сознания на лице брата. Иногда я выбираю менее личный предмет, скажем, апельсин или очки, тем самым усложняя упражнение.

Однажды я еду из Калькутты в Дакку в Восточной Бенгалии, чтобы выступить со своими фокусами в местном колледже, и там я случайно попадаю на удивительное представление — хождение по раскаленным углям. Собралась большая толпа людей. У подножия небольшого холма вырыта канава. Сотни зрителей сидят на склоне и смотрят вниз.

Канава длиной около семи метров заполнена дровами и углем, залитыми парафином. Парафин поджигают, и через некоторое время вся канава превращается в раскаленную печь. От нее пышет жаром, и те, кто перемешивает угли, вынуждены надеть защитные очки. Сильный ветер раскаляет угли добела.

Появляется индус в одной набедренной повязке и босиком. Толпа замолкает. Индус спускается в канаву и идет по раскаленным углям. Не останавливается. Но и не торопится. Он просто идет по раскаленным добела углям и выходит с противоположного конца. На ногах ни малейшего ожога. Он показывает свои ступни толпе. Толпа пораженно глядит.

Индус снова спускается в канаву. На этот раз он идет еще медленнее, и я вижу выражение полнейшей отрешенности на его лице. Этот человек, говорю себе, занимался йогой. Он йог.

После представления индус спрашивает у толпы, есть ли среди них смельчак, готовый спуститься вниз и пройти по углям. Вокруг воцаряется тишина. Мое сердце внезапно сжимается от волнения. Это мой шанс. Нельзя его упускать. У меня есть вера и храбрость. Я должен попытаться. Вот уже три года я развиваю в себе способность к концентрации, и пришло время испытать себя.

Пока я стою и терзаюсь сомнениями, из толпы выходит

доброволец — молодой индус. Он заявляет, что хотел бы попробовать пройти по углям. Решено! Я тоже делаю шаг вперед. Толпа приветствует нас обоих.

Теперь настоящий йог становится наблюдателем. Он говорит, что первым пойдет тот, другой. Он велит ему снять дхоти, иначе от исходящего от углей жара ткань может загореться, говорит он. Сандалии тоже нужно снять.

Молодой индус делает, что велено. Он подходит к краю канавы, и его обдает нестерпимым жаром. Теперь он выглядит испуганным. Отступает на несколько шагов назад, прикрывая глаза ладонями.

— Не делай этого, если не хочешь, — говорит йог.

Толпа ждет и смотрит, предвкушая эффектное зрелище.

Молодой человек хочет доказать свою храбрость, хоть и напуган до смерти.

— Конечно, я пойду.

С этими словами он бежит к канаве. Ступает в нее одной ногой, потом второй. Издает страшный вопль, выскакивает из канавы и падает на землю. Бедняга лежит, крича от боли. Подошвы его ступней сильно обожжены, в некоторых местах слезла кожа. К нему подбегают двое друзей и уносят его.

— Теперь твой черед, — говорит индус. — Готов?

— Готов, — отвечаю я. — Но, прошу вас, не кричите. Мне нужно настроиться.

В толпе наступила гробовая тишина. Только что они видели, как обгорел один. Неужели второй хочет того же? Он что, рехнулся?

— Не смей! Не сходи с ума! — выкрикнул кто-то. Другие подхватывают крик, все уговаривают меня отступиться. Я оборачиваюсь и поднимаю руки, требуя тишины. Крики стихают. Зрители во все глаза смотрят на меня.

Я необычайно спокоен.

Стягиваю с себя дхоти. Снимаю сандалии. Неподвижно стою с закрытыми глазами. Начинаю концентрировать сознание. Концентрируюсь на огне. Не вижу ничего, кроме раскаленных добела углей, сосредотачиваюсь на одной-единственной мысли — угли не горячие, а холодные. Они холодные, говорю я себе. Я не обожгусь. Они не могут меня обжечь, потому что в них нет тепла. Проходит полминуты. Я знаю, что медлить нельзя, так как я неспособен концентрироваться на одном предмете больше полутора минут.

Продолжаю концентрироваться. Я сосредотачиваюсь так сильно, что вхожу в своего рода транс. Ступаю на угли. Довольно быстро прохожу по канаве во всю ее длину. И — о чудо! — я не

обжегся!

Толпа неистовствует. Все визжат от восторга. Ко мне подбегает индус и осматривает ступни. Он не верит своим глазам. Ни одного ожога!

— Ого! — кричит он. — Что такое? Ты — йог?

— Только учусь, сэр, — гордо отвечаю я. — Но я на верном пути.

Быстро одеваюсь и убегаю от неистовствующей толпы.

Естественно, я взволнован. «Вот оно, — говорю я себе. — Наконец-то получается». А в голове постоянно крутится одна мысль. Я вспоминаю слова старого йога из Хардвара. «Известно, что некоторые праведники развили в себе столь сильную способность концентрации, — рассказывал он, — что могли видеть с закрытыми глазами». Я постоянно помню его слова и мечтаю сам овладеть такой способностью. А после того, как у меня получилось пройти по раскаленным углям, я решил, что сосредоточу все свои силы на одной-единственной цели — научиться видеть с закрытыми глазами».

Тут Имрат Хан во второй раз прервал свой рассказ. Он выпил глоток воды, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза.

— Я пытаюсь ничего не перепутать, — пояснил он, — и хочу пересказать все события в строгой последовательности.

— У вас замечательно получается, — улыбнулся я. — Продолжайте.

«Хорошо, — кивнул он. — Итак, я в Калькутте. Недавно я с успехом прошел по раскаленным углям. А теперь решил сконцентрировать всю свою энергию на развитие способности видеть с закрытыми глазами.

Следовательно, пришло время немного изменить упражнения. Теперь каждую ночь я зажигаю свечу и не отрываясь смотрю на пламя. Понимаете, пламя свечи разделено на три части — желтая сверху, лилиловато-розовая снизу и черная посередине. Я ставлю свечу в сорока сантиметрах от своего лица. Пламя находится на уровне моих глаз. Не выше и не ниже. Оно должно быть точно на уровне глаз, чтобы мне не приходилось напрягать глазные мышцы, передвигая взгляд вверх или вниз. Я устраиваюсь поудобнее и смотрю на черную часть пламени, в самый центр. Все это я делаю только для того, чтобы сконцентрировать сознание, освободить его от окружающих предметов. Итак, я напряженно смотрю на черное пятно в пламени, и через некоторое время все вокруг исчезает, я вижу лишь это черное пятно. Тогда я медленно закрываю глаза и сосредотачиваюсь на одном предмете — как вам уже известно, на

лице брата.

Я выполняю это упражнение каждый вечер перед сном и к 1929 году, когда мне исполняется двадцать четыре, мне удается сосредоточиться на одном предмете в течение трех минут, не отвлекаясь ни на что другое. И теперь я начинаю сознавать, что приобрел слабую способность видеть предмет с закрытыми глазами. Способность эта еще очень слабенькая, скорее даже легкое странное ощущение, что, закрыв глаза и сконцентрировав сознание на каком-то предмете, я могу видеть его очертания.

Понемногу я начинаю развивать внутреннее зрение.

Вас интересует, что это такое? Я объясню вам так же, как в свое время мне объяснил йог из Хардвара.

У всех нас есть два вида зрения — так же, как и два вида обоняния, вкуса и слуха. Высокоразвитое внешнее чувство, которым мы все пользуемся, а также внутреннее чувство. Если бы мы могли развить эти наши внутренние чувства, тогда мы бы нюхали без помощи носа, пробовали на вкус — без языка, слышали — без ушей и видели — без глаз. Понимаете? Вы разве не поняли, что носы, языки, уши и глаза — это только… Как бы это назвать?.. Только орудия, которые помогают передавать само ощущение в мозг.

Так вот, я все время стараюсь развить свое внутреннее зрение. Каждую ночь я выполняю свои обычные упражнения с пламенем свечи и лицом брата. После этого немного отдыхаю. Потом завязываю себе глаза и сижу в кресле, пытаясь вызвать в сознание визуальный образ, стараясь увидеть, а не просто представить — именно увидеть с закрытыми глазами каждый предмет в комнате.

И постепенно мне это удается.

Вскоре я начинаю работать с колодой карт. Беру верхнюю карту и держу ее перед собой рубашкой вверх, пытаясь увидеть сквозь нее. Потом карандашом записываю, какую карту я «увидел». Беру следующую и делаю то же самое. И так всю колоду. Потом сверяю свои записи с истинным значением карт. В первый же раз мне удается угадать шестьдесят-семьдесят процентов карт.

Я делаю и другие упражнения. Покупаю географические карты и сложные навигационные чертежи и развешиваю их по всей комнате. Я часами смотрю на них с завязанными глазами, пытаясь их увидеть, пытаясь прочитать названия городов и рек, написанные мелкими буквами. Четыре года я упражняюсь каждый вечер.

В 1933-м, то есть в прошлом году, когда мне исполнилось двадцать восемь, я сумел прочитать книгу. Я закрываю глаза и

читаю книгу от начала до конца.

Наконец я добился своего, я развил в себе эту способность. Теперь я точно знаю. Мне не терпится испытать себя на публике, и я тотчас включаю номер с завязанными глазами в свое выступление.

Публика в восторге. Они долго и громко аплодируют. Но ни один человек не верит, что я на самом деле вижу с закрытыми глазами. Все считают, что это всего лишь хитроумный трюк. Я же фокусник, поэтому зрители уверены, что все мои номера построены на обмане. Фокусники всегда обманывают. Они обманывают вас своей ловкостью. Так что никто мне не верит. Даже доктора, которые завязывают мне глаза самым изощренным способом, отказываются верить, что кто-то может видеть без глаз. Они забывают о том, что могут быть иные пути передачи образа в мозг».

— Что за иные пути? — спросил я.

— Честно говоря, я точно не знаю, как мне удается видеть с завязанными глазами. Но мне известно одно: когда глаза завязаны, я ими вообще не пользуюсь. Я вижу какой-то другой частью тела.

— Какой? — спросил я.

— Любой, лишь бы была голая кожа. К примеру, если вы поставите передо мной металлический лист, а за ним положите книгу, я не смогу ее прочитать. Но если вы позволите мне выставить руку за этот лист так, чтобы ладонь видела книгу, я ее прочитаю.

— Не возражаете, если мы сейчас попробуем это сделать? — спросил я.

— Ничуть, — ответил он.

— Металлического листа у меня нет, — сказал я. — Но сойдет и дверь.

Я встал и подошел к книжному шкафу. Взял первую попавшуюся книгу. «Алиса в Стране Чудес». Открыл дверь и попросил гостя встать за нею. Раскрыв книгу наугад, я установил ее вертикально на стуле с другой стороны двери. А сам занял положение, из которого видел и его, и книгу.

— Можете прочесть? — спросил я его.

— Нет, — ответил он. — Конечно, нет.

— Ладно. Можете выставить руку за дверь, но только одну ладонь.

Его рука выглянула из-за двери и остановилась напротив книги. Пальцы раздвинулись, слегка задрожали, ощупывая воздух, словно усики насекомого. Потом ладонь повернулась тыльной стороной к книге.

— Попробуйте прочитать левую страницу с самой верхней строчки, — сказал я.

Наступила короткая пауза, а потом он начал читать, гладко, без запинки: «„Так ты отгадала загадку?“ — спросил Шляпа, снова обернувшись к Алисе. „Нет, сдаюсь, — сказала Алиса. — А какой ответ?“ — „Понятия не имею“, — сказал Шляпа. „А я тем более“, — поддержал Заяц. Алиса тяжело вздохнула: „Как вам не стыдно! Неужели ничего лучше нельзя придумать, чем загадки без отгадок? Вам, видно, время совсем не дорого…“»

— Превосходно! — воскликнул я. — Теперь я вам верю! Вы — чудо!

Я был потрясен.

— Спасибо, доктор, — с серьезным видом поблагодарил он. — Мне очень приятно слышать ваши слова.

— Один вопрос, — сказал я. — Насчет игральных карт. Когда перед вами лежит карта рубашкой вверх, вы смотрите на нее рукой с лицевой стороны для того, чтобы увидеть ее?

— Вы весьма проницательны, — улыбнулся он. — Нет. Я действительно каким-то образом вижу сквозь карту.

— Как вы это объясните? — спросил я.

— Я не могу этого объяснить, — покачал он головой. — Наверное, в отличие от металла или двери карта слишком тонкая, слишком легкая, слишком непрочная. Вот и все объяснение, которое могу предложить. На свете много необъяснимого, доктор.

— Да, вы правы, — согласился я.

— А теперь не могли бы вы отвезти меня домой? — попросил он. — Я очень устал.

Я отвез его на машине.

В ту ночь я даже не ложился. Не мог заснуть от волнения. Только что я стал свидетелем чуда. Все врачи мира сойдут с ума, узнав об этом человеке! Он совершит переворот в медицине! С врачебной точки зрения он — самый ценный человек из ныне живущих! Мы, врачи, должны вцепиться в него руками и ногами и беречь, как зеницу ока. Мы должны заботиться о нем. Его нельзя отпускать. Необходимо выяснить, каким образом изображение передается в мозг без помощи глаз. Если нам это удастся, слепые будут видеть, а глухие — слышать. Господи, и этот удивительный человек бродит по Индии, живет в дешевых гостиницах и выступает во второсортных цирках!

Я так распалился от этих мыслей, что схватился за тетрадку и карандаш и аккуратно, подробно записал все, что рассказал мне Имрат Хан. Я пользовался своими заметками, набросанными во время разговора. К восьми утра я закончил самую важную часть,

которую вы только что прочитали, и отправился в больницу.

С доктором Маршаллом я увиделся только во время перерыва в комнате отдыха.

За десять минут я вкратце пересказал ему события прошлого вечера.

— Вечером я пойду в цирк, — заявил я. — Я обязан поговорить с ним еще раз. Нужно уговорить его остаться здесь. Ни в коем случае нельзя его терять.

— Я пойду с вами, — предложил доктор Маршалл.

— Хорошо, — согласился я. — Сначала посмотрим представление, а потом пригласим его на ужин.

Без четверти семь вечера мы с доктором Маршаллом приехали на улицу Акаций. Я поставил машину на стоянку, и мы вдвоем пошли к «Ройял-Паласу».

— Что-то не так, — сказал я. — Куда все подевались?

У здания не было никакой толпы, а двери зала были закрыты. Афиша висела на прежнем месте, но теперь на ней большими черными буквами было написано: «СЕГОДНЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТМЕНЯЕТСЯ». У запертых дверей стоял старый привратник.

— Что случилось? — спросил я у него.

— Умер кто-то, — ответил он.

— Кто? — спросил я, заранее зная ответ.

— Человек, видевший без глаз, — отвечал привратник.

— Как он умер? — закричал я. — Когда? Где?

— Говорят, в постели, — сказал привратник. — Лег спать и не проснулся. Такое случается.

Мы медленно побрели к машине. Меня охватило всепоглощающее чувство невосполнимой утраты. Я задыхался от горя и злости. Зачем я вчера отпустил этого уникальною человека? Нужно было оставить его у себя и позаботиться о нем. Нельзя было выпускать его из вида. Имрат Хан был чудотворцем. Он общался с таинственными и опасными силами, непостижимыми для обычных людей. Он нарушил все правила. Он творил чудеса на людях. И брал за это деньги. И самое страшное — раскрыл некоторые тайны чужаку, то есть мне. И вот он мертв.

— Значит, такие вот дела, — протянул доктор Маршалл.

— Да, — сказал я. — Все кончено. Никто так никогда и не узнает, как он это делал.

Таков правдивый и точный отчет обо всем, что произошло во время двух моих встреч с Имрат Ханом».

Далее в тетрадке стояли подпись: «Джон Ф. Картрайт, доктор медицины», — и дата: «Бомбей, 4 декабря 1934 г.».

— Так-так, — протянул Генри Шугар. — Очень интересно.

Он закрыл тетрадь и посмотрел в окно, за которым хлестал дождь.

— Потрясающая информация, — продолжил он, громко разговаривая с самим собой. — Она может изменить мою жизнь.

Генри имел в виду информацию о том, как Имрат Хан учился видеть значение игральной карты с обратной стороны. Генри был игроком, причем не совсем честным, поэтому сразу понял — если он научится делать то же самое, то заработает кучу денег.

Генри представил себе, какие чудеса он будет творить, если научится видеть карты с обратной стороны. Он станет каждый раз выигрывать в канасту, бридж и покер. Более того, он мог бы пойти в любое казино мира и сорвать банк в блэк-джек, да и во всех других играх с высокими ставками!

Генри отлично знал, что в казино все зависит от одной последней карты, и если тебе заранее известно, какой будет эта карта, ты — в выигрыше!

Но удастся ли? Сумеет ли он научиться делать такое?

А почему бы и нет? Непохоже, чтобы вся эта белиберда со свечой оказалась таким уж сложным делом. Нужно всего-то смотреть в центр пламени, да концентрироваться на лице самого любимого человека.

Ну, уйдет у него на эту учебу пара-другая лет, но кто на этом свете пожалеет несколько лет, если можно научиться выигрывать в казино, когда только вздумается?

— Ей-богу, — громко воскликнул он, — у меня получится! Я добьюсь своего!

Он тихо сидел в кресле в библиотеке, продумывая план действий. Прежде всего, он никому не скажет о своих замыслах: ему нельзя ни с кем делиться своей задумкой. Он утащит тетрадку из библиотеки, а то неровен час, кто-то из друзей невзначай наткнется на нее и узнает тайну. Он всегда и везде будет носить ее с собой. Она станет его библией. Где он найдет настоящего живого йога, который стал бы его наставлять? Вот книжка и будет ему за йога. Она станет его учителем.

Генри встал и спрятал синенькую школьную тетрадку под пиджак. Вышел из библиотеки и поднялся по лестнице в спальню, предоставленную ему на выходные. Достав чемодан, он положил тетрадку на дно под одежду. Затем снова спустился вниз и направился в буфетную.

— Джон, — обратился он к дворецкому, — можете найти для меня свечу? Обычную белую парафиновую свечку?

Дворецкие приучены не задавать лишних вопросов. Они просто повинуются.

— Подсвечник нужен, сэр?

— Да. Свеча и подсвечник.

— Очень хорошо, сэр. Принести в вашу комнату?

— Нет. Я подожду здесь, пока вы найдете.

Дворецкий быстро отыскал свечу с подсвечником.

— Найдите мне еще и линейку, — попросил Генри.

Дворецкий нашел ему линейку. Генри поблагодарил его и вернулся к себе в спальню.

Там закрылся на ключ. Задернул все шторы, и в комнате воцарился полумрак. Поставил подсвечник со свечой на туалетный столик и придвинул кресло. Усевшись, он с удовлетворением отметил, что его глаза находятся как раз на том же уровне, что и фитиль свечи. Потом отмерил по линейке сорок сантиметров от свечи, поскольку в книжке говорилось именно о таком расстоянии между глазами и пламенем свечи.

Этот индийский парень мысленно видел лицо самого любимого человека, каковым для него был брат. У Генри брата не было. Потому он решил вызывать в сознании визуальный образ собственного лица. Выбор оказался удачным, поскольку если быть таким себялюбивым и эгоистичным, как Генри, тогда собственное лицо наверняка и будет лицом самого любимого человека. К тому же это лицо Генри знал лучше всех прочих. Сколько времени он тратил, разглядывая его в зеркале! Знал каждый его изгиб, каждую морщинку.

Он поднес зажигалку к свече и поджег фитиль. Вспыхнуло ровное желтое пламя.

Генри напряженно всматривался в пламя свечи. Книжка была права. У пламени, если к нему приглядеться, три отдельные части. Снаружи оно желтое. Дальше — розовато-лиловая внутренняя оболочка. А прямо в центре — крошечное магическое пятнышко полнейшей черноты. Он не отрываясь смотрел на эту черную точку. Он смотрел и смотрел на нее, и вдруг произошло невероятное. Сознание полностью очистилось от мыслей, мозг перестал цепляться то за одно, то за другое, и внезапно у него возникло ощущение, словно сам он, все его тело оказалось внутри пламени, уютно и удобно устроившись в черном пятнышке небытия.

Образ собственного лица беспрепятственно всплыл в сознании Генри. Он сосредоточился на нем, заставляя себя видеть только его и больше ничего. Он подавил все прочие мысли. Ему это удалось, но лишь секунд на пятнадцать. Потом сознание начало засоряться, и он поймал себя на мысли о казино и огромных деньгах, которые он выиграет. Тогда он отвернулся от свечи и позволил себе отдохнуть.

Так прошла его первая попытка. Его охватило необычайное волнение. Получилось. Правда, ненадолго. Но тот индус тоже немного продержался в первый раз.

Через несколько минут он повторил попытку. Она тоже удалась. У него не было при себе хронометра, но он чувствовал, что на этот раз продержался гораздо дольше.

— Потрясающе! — восторженно воскликнул он. — Все у меня получится! Я этого добьюсь!

Никогда прежде не испытывал он такого волнения.

С этого дня Генри, вне зависимости от того, где находился и чем занимался, взял за обыкновение ежеутренне и ежевечерне практиковаться со свечой. Зачастую он тренировался еще и днем. Впервые в жизни он по-настоящему увлеченно окунулся с головой в какое-то занятие. И заметно продвигался. Через шесть месяцев он мог концентрироваться исключительно на собственном лице в течение не менее трех минут без единого вторжения в сознание какой-то посторонней мысли.

Йог из Хардвара говорил этому индийскому парню, что человеку надо пятнадцать лет тренироваться, чтобы добиться такого результата!

Но минуточку! Тот же йог говорил еще и кое-что иное. Он говорил (и тут Генри в сотый раз старательно сверился с синенькой тетрадкой), он говорил, что в исключительно редких случаях попадается особенный человек, способный развить такую способность за год или два.

— Так ведь это про меня! — вскричал Генри. — Точно про меня! Я и есть тот самый один из миллиона, одаренный способностью обретать силы йоги с невероятной быстротой! Гип-гип-ура! Еще немного, и я сорву банк во всех казино Европы и Америки!

Но на этом этапе Генри проявил удивительное терпение и здравомыслие. Он не спешил браться за колоду карт и проверять, сможет ли увидеть значение карты через «рубашку». Он вообще держался поодаль от всяческих карточных игр. Он забыл про бридж, канасту и покер с тех пор, как начал упражняться со свечой. Более того, он больше не появлялся на вечеринках и не проводил выходные со своими богатыми друзьями. Он отдался единственной цели, решив обрести способности и возможности йога, а все прочее могло и подождать, пока он не добьется своего.

На десятом месяце упражнений Генри, как и Имрат Хан в свое время, почувствовал, что может видеть предмет с закрытыми глазами. Когда он закрывал глаза и сосредоточенно смотрел на какой-то предмет, ему удавалось увидеть его очертания.

— Получается! — вскричал он. — Получается! Невероятно!

Теперь он еще упорнее работал над своими упражнениями со свечой, и к концу первого года уже мог сосредотачиваться на образе своего лица в течение не менее пяти с половиной минут!

И тогда он решил, что наконец настало время попробовать себя с картами. Он принял это решение около полуночи в гостиной своей лондонской квартиры. Он взял карточную колоду, карандаш и бумагу. Его тело дрожало от возбуждения. Колоду он положил перед собой лицевой стороной вниз и сосредоточился на самой верхней карте. Сначала он видел только рисунок «рубашки». Весьма заурядный орнамент — тонкие линии красного цвета — один из самых распространенных в мире орнаментов игральных карт. Теперь он сместил свою сконцентрированность с собственно рисунка на обратную сторону карты. Он напряженно сосредотачивался на невидимой изнанке карты, не позволяя при этом ни единой иной мысли просочиться в его сознание. Прошло тридцать секунд.

Потом минута…

Две минуты…

Три…

Генри не шевелился. Концентрация была полной и напряженной. Он пытался мысленно увидеть изнанку игральной карты, отрешившись от всего вокруг.

На четвертой минуте что-то произошло. Медленно, как по волшебству, но очень четко черные значки превратились в пики, и рядом с пиками возникла цифра пять.

Пятерка пик!

Генри отключил свою концентрацию. Трясущимися пальцами схватил карту и перевернул ее.

Это была пятерка пик!

— У меня получилось! — заорал он, вскакивая с кресла. — Я видел сквозь нее! Я на верном пути!

Немного отдохнув, он попробовал снова, и на этот раз положил перед собой секундомер, чтобы заметить время. Через три минуты и пятьдесят восемь секунд он «увидел» следующую карту: бубновый король. И угадал!

На следующий раз он опять угадал, и это заняло у него три минуты и пятьдесят четыре секунды. На четыре секунды меньше.

Он вспотел от возбуждения и усталости.

— На сегодня хватит, — сказал он себе. Налил щедрую порцию виски и сел отдохнуть, празднуя успех.

Теперь, размышлял он, ему нужно практиковаться и практиковаться до тех пор, пока он не научится мгновенно видеть карту насквозь. Он был уверен, что у него получится. Как никак, уже на второй попытке ему удалось скинуть четыре секунды. Он

бросит упражнения со свечой и сосредоточится исключительно на картах. Будет работать днем и ночью.

Так он и сделал. Но теперь, когда он уже чувствовал запах успеха, когда до удачи, казалось, рукой подать, он стал еще фанатичнее, чем прежде. Он перестал выходить из дома, покидая его разве лишь затем, чтобы купить еды и питья. Весь день напролет и нередко по ночам он склонялся с секундомером над картами и все сокращал и сокращал время, уходившее у него на чтение карты через «рубашку».

За месяц он довел его до полутора минут.

Полгода он работал, как одержимый, и к концу шестого месяца прочитывал карту за двадцать секунд. Но и это было слишком много. Когда банкомет в казино вытаскивает карту и ждет твоего ответа — возьмешь ты ее или нет, — никто не даст тебе двадцать секунд на размышления. Три или четыре секунды — куда ни шло. Но не дольше.

Генри продолжил свои старания. Но теперь стало все труднее и труднее повышать скорость. Путь от двадцати секунд до девятнадцати забрал у него неделю очень тяжкого труда. С девятнадцати до восемнадцати он шел почти две недели. И свыше семи месяцев прошло, прежде чем он смог отчетливо видеть карту за десять секунд.

Он поставил себе цель — четыре секунды. Он понимал, что пока не научится видеть карту максимум за четыре секунды, на успех в казино рассчитывать нечего. Но чем ближе становилась цель, тем труднее давались следующие шаги. Снизить время с десяти до девяти секунд удалось лишь за четыре недели, а на ускорение с девяти до восьми секунд ушло еще пять недель. Но на этой стадии упорный труд его совсем не раздражал. Его способность сосредотачиваться возросла до того, что он мог работать по двенадцать часов подряд, не испытывая при этом никаких неудобств. И он твердо верил, что поставленная цель ему по силам, и в конечном счете он ее достигнет. Он не остановится, пока не добьется своего. День за днем, ночь за ночью он согбенно сидел за картами с хронометром в руке и отчаянно сражался с лишними секундами.

Последние три секунды оказались самыми трудными. Чтобы дойти от семи секунд до вожделенных четырех, ему понадобилось целых одиннадцать месяцев!

Великий миг настал в субботний вечер. Перед ним лежала карта, рубашкой вверх. Он щелкнул секундомером и начал сосредотачиваться. И сразу же увидел красные кляксы. Пятна очень скоро обрели очертания и превратились в бубны. И затем, почти сразу же, в левом верхнем углу появилась цифра шесть. Он

снова щелкнул секундомером. Отсчитал время. Оказалось, что прошло четыре секунды! И перевернул карту. Шестерка бубен! Удалось! Он прочел карту ровно за четыре секунды!

Он попробовал еще раз, с другой картой. Через четыре секунды он увидел, что это дама пик. Он прошелся по всей колоде, каждый раз не забывая включить секундомер перед очередной картой. Четыре секунды! Четыре секунды! Четыре секунды! Всегда одинаково. Наконец он этого добился! Все. Он готов к делу!

Сколько времени у него на это ушло? Ровно три года и три месяца напряженной работы.

А теперь в казино!

Но когда?

А почему бы не начать прямо сейчас?

Сейчас вечер, суббота. Все казино по субботам к ночи переполнены. Тем лучше. Меньше шансов вызвать подозрения. Он пошел в спальню, переоделся в смокинг и повязал черный галстук. В субботний вечер в большие лондонские казино полагается являться нарядным.

А пойдет он, поразмыслив, решил Генри, в «Лордз-Хауз». В Лондоне больше сотни законных казино, но туда пускают далеко не всех. Сначала нужно стать его членом. Генри числился членом не менее десяти лучших казино. «Лордз-Хауз» нравилось ему более всех прочих. Самое роскошное в стране, и публика самая изысканная.

Казино «Лордз-Хауз» располагалось в великолепном особняке эпохи короля Георга в самом центре Лондона, более двух столетий он служил личной резиденцией герцогу Эдинбургскому. Теперь тут хозяйничали букмекеры, а в изысканных комнатах с высокими потолками, куда некогда приходили аристократы, нередко царственных кровей, чтобы сыграть партию-другую в невинный вист, толпились люди совсем иного рода и играли совсем в другие игры.

Генри подъехал к парадному входу и вышел из автомобиля, но двигатель заглушать не стал. К машине тотчас подбежал служитель в зеленой форме, чтобы отогнать ее на стоянку.

На обочинах по обе стороны улицы стояло, наверное, с десяток «Роллс-Ройсов». Только очень состоятельные люди могли позволить себе членство в «Лордз-Хауз».

— Приветствуем вас, мистер Шугар! — воскликнул человек за стойкой, в чьи обязанности входила способность никогда не забывать ни единого лица. — Давненько не было видно!

— Дела, — отвечал Генри.

Он поднялся наверх по роскошной широкой лестнице с

резными перилами из красного дерева и вошел в кассу. Там он выписал чек на тысячу фунтов. Кассир выдал ему десять больших розовых пластмассовых жетонов прямоугольной формы. На каждом прямоугольнике значилось: 100 фунтов. Генри опустил их в карман и прошелся по игорным залам, чтобы после долгого отсутствия вновь пропитаться царившей здесь атмосферой. Казино было переполнено. Холеные гладкие женщины окружали вращающееся колесо рулетки, словно откормленные куры, столпившиеся вокруг кормушки. На груди и запястьях у них сверкали золото и драгоценные камни. Волосы у многих отливали синевой. Мужчины были в смокингах, и среди них не было ни одного высокого. Интересно, удивлялся Генри, почему у всех богатых завсегдатаев казино короткие ноги? Они словно бы кончаются на коленях. У большинства из них неизменно большие животы, багровые лица и сигары в зубах. В глазах сверкает алчность.

Впервые в жизни Генри с презрением наблюдал за типичными богатыми любителями азартных игр и завсегдатаями казино. Прежде он всегда видел в них компаньонов, товарищей, представителей того же сословия и того же класса, к которому относил и себя самого. Сегодня вечером они казались ему невыносимо вульгарными.

Неужели он изменился благодаря трехлетним занятиям йогой, недоумевал Генри.

Он встал у рулетки. Народ выкладывал жетоны на длинный зеленый стол, силясь угадать, куда угодит маленький белый шарик, соскочив с колеса на следующем его обороте. Генри поглядел на колесо. И вдруг, наверное, больше по привычке, чем почему-нибудь еще, он поймал себя на том, что начал концентрироваться на этом механизме. Это было нетрудно. Он упражнялся в искусстве полнейшей сосредоточенности столько времени, что это для него стало чем-то будничным и привычным. За долю секунды его сознание полностью сосредоточилось исключительно на колесе. Все прочее, на что можно было бы обратить внимание в этом помещении, — шум, люди, освещение, запах сигарного дыма — все это исчезло из его сознания, и он видел только белые цифры вдоль обода. Числа шли подряд, от 1 до 36, а между 36 и 1 красовался маленький нолик. Очень скоро все цифры расплылись и исчезли из поля зрения. Все числа, кроме одного лишь числа — 18. Только две эти цифры он видел. Сначала слегка мутновато, словно бы не в фокусе. Потом края цифр вырисовались четче, и белизна их постепенно становилась ярче, светлее, а под конец они вообще заблестели, словно подсвечиваемые сзади. И выросли, и продолжали расти. Будто бы

летя или прыгая к нему. И тут Генри отключил свою концентрацию. Помещение вновь поплыло перед глазами — вернулось обычное зрение.

— Все поставили? — донесся до него голос крупье.

Генри вынул стофунтовый жетон из кармана и положил его на квадрат с цифрой 18 на зеленом столе. Хотя весь стол был заставлен жетонами других игроков, на квадрате с цифрой 18 лежал только один его кусочек пластмассы.

Крупье запустил колесо. Маленький белый шарик подскакивал и бегал туда и сюда по ободу. Игроки напряженно следили за ним. Все взгляды были устремлены на шарик. Вращение колеса замедлялось. Наконец оно остановилось. Шарик попрыгал еще немного, а потом ловко скатился в сектор под номером 18.

— Восемнадцать! — объявил крупье.

Толпа вздохнула. Помощник крупье сгреб кучки проигравших жетонов деревянным совком с длинной ручкой. Но прямоугольник Генри остался на столе. Ему заплатили в соотношении тридцать шесть к одному. Три тысячи шестьсот фунтов за одну его сотню. Ему выдали три жетона достоинством в тысячу и шесть сотенных.

Генри переполняло ощущение собственного могущества. Он почувствовал, что может разорить это заведение, если захочет. Он мог бы за считанные часы сокрушить этот разукрашенный кичливый дорогой притон для сильных мира сего. Он мог бы с легкостью выиграть миллион, и все эти лощеные господа с каменными лицами и большими деньгами разбежались бы, как перепуганные крысы.

Может, попробовать?

Соблазн велик.

Но на том бы все и кончилось. Он завоевал бы себе дурную славу, и его больше не пустили бы ни в одно казино мира. Не стоит этого делать. Наоборот, он должен вести себя крайне осторожно и не привлекать внимания.

Генри непринужденно покинул зал для игры в рулетку и прошел в зал, где играли в блэк-джек. Он встал в дверях, наблюдая за происходящим. Играли за четырьмя столами. Эти столы для игры в блэк-джек имели странную форму полумесяца, игроки сидели на высоких стульях на выпуклой стороне, а банкометы стояли внутри полумесяца.

Карточные колоды (в «Лордз-Хауз» играли сразу четырьмя колодами) лежали в раскрытой шкатулке, которая называлась «башмак», и банкомет по одной вытаскивал карты из этого самого «башмака»… «Рубашка» верхней карты в «башмаке» всегда была

видна, но остальные карты не просматривались.

Блэк-джек, как принято считать, игра очень простая. Нам с вами она известна еще и под другими названиями: «очко», «двадцать одно» или, на французский манер, «венетон». Игрок набирает карты так, чтобы сумма очков максимально приблизилась к двадцати одному, но если он наберет больше двадцати одного, то сразу проиграет. Практически при каждой сдаче перед игроком стоит вопрос — прикупить еще одну карту с риском, что у него будет перебор, или остаться с тем, что есть? Но для Генри это не проблема. За четыре секунды он сумеет «увидеть насквозь» ту карту, которую собирается сдать ему банкомет, и поймет, сколько поставить на кон. Генри способен превратить блэк-джек в фарс.

Во всех казино принято нелепое правило насчет объявления ставки в блэк-джек, которого мы не придерживаемся дома. Дома мы сначала смотрим свою карту и, если карта хорошая, делаем большую ставку. В казино вам такого не разрешат. Там надо сначала поставить деньги на кон, и лишь после этого банкомет выдаст первую карту. Более того, не разрешается и потом увеличивать свою ставку, прикупая карту.

Но все эти сложности — больше не помеха для Генри. Нужно только сесть рядом с банкометом слева, тогда при каждой раздаче он получит первую карту из «башмака». Он успеет «прочитать» карту прежде, чем делать ставку.

Итак, Генри спокойно стоял в дверях, дожидаясь, когда за одним из четырех столов освободится место по левую руку банкомета. Пришлось ждать целых двадцать минут, но в итоге он получил то, что хотел.

Взгромоздясь на высокий стул, он протянул один из выигранных им в рулетку тысячефунтовых прямоугольников.

— Двадцатипятифунтовых на все, — сказал он.

Банкомет, моложавый мужчина с черными глазами и серой кожей, никогда не улыбался и говорил только по необходимости. Казалось, в его тонкие пальцы встроено арифметическое устройство. Он взял жетон Генри и опустил его в прорезь на столе. На деревянном подносе перед ним лежали аккуратные ряды фишек разного цвета, фишки по 25, 10 и 5 фунтов, наверное, по сотне фишек каждого достоинства. Банкомет подхватил стопку двадцатипятифунтовых фишек, зажав их между большим и указательным пальцами, и выложил высоким столбиком на столе. Пересчитывать их он не стал. Он знал, что в столбике ровно двадцать фишек. Его ловкие пальцы могли с абсолютной точностью захватить любое количество фишек, от одной до двадцати, и ни разу не ошибиться. Банкомет взял еще

одну стопку из двадцати фишек, и теперь их стало сорок. Он подвинул оба столбика к Генри.

Генри сложил фишки перед собой и одновременно бросил взгляд на верхнюю карту в «башмаке». Он переключил мозг на концентрацию и за четыре секунды увидел, что это десятка. И поставил на кон восемь фишек из своей кучки, двести фунтов. Выше ставки в блэк-джек в «Лордз-Хауз» не было.

Получив «десятку», он взял вторую карту, «девятку» — в итоге получилось девятнадцать.

На девятнадцати все останавливаются. Ерзаешь на стуле и надеешься, что банкомет, в свою очередь, не наберет двадцать или двадцать одно.

Поэтому когда банкомет, сделав круг, вернулся к Генри и услышал: «Девятнадцать», — то сразу перешел к следующему игроку.

— Подождите, — остановил его Генри.

Банкомет замер и повернулся к Генри. Удивленно подняв брови, он окинул Генри взглядом своих бесстрастных черных глаз.

— Желаете прикупить к девятнадцати? — с легким оттенком сарказма поинтересовался он.

Он говорил с итальянским акцентом, и помимо сарказма в его голосе слышалось презрение. В колоде всего две карты, которые можно прикупить к девятнадцати без риска перебора, — туз (одно очко) и двойка. Только глупец рискнул бы вытянуть еще одну карту, имея на руках девятнадцать, особенно если на кону две сотни.

Генри отчетливо видел следующую карту в «башмаке». По крайней мере ее «рубашку». Банкомет к ней еще не притронулся.

— Да, — кивнул Генри. — Пожалуй, возьму еще одну.

Банкомет пожал плечами и выдернул карту из «башмака». Рядом с двумя прежними картами ровно легла трефовая двойка.

— Благодарю вас, — сказал Генри. — Ее-то мне и не хватало.

— Двадцать одно, — объявил банкомет. Его взгляд вновь скользнул по лицу Генри, черные глаза смотрели на него настороженно и озадаченно. Генри вывел его из равновесия. Ни разу в жизни он не видел, чтобы кто-нибудь прикупал карту к девятнадцати. А этот парень прикупил к девятнадцати с поразительным хладнокровием и уверенностью. И ведь выиграл.

Генри поймал взгляд банкомета и сразу же понял, что совершил глупейшую ошибку. Он оказался слишком умен и тем самым привлек к себе внимание. Впредь следует вести себя более осмотрительно. В будущем он должен крайне осторожно пользоваться своими способностями. Иногда нужно даже

проигрывать и время от времени совершать нелепые поступки.

Игра продолжалась. Преимущество Генри оказалось столь огромным, что он с трудом удерживал свои выигрыши в пределах разумной суммы. То и дело он просил третью карту, хотя заведомо знал, что она будет лишней. А однажды, увидев, что первая карта — это туз, выбрал самую маленькую ставку, а потом устроил недурной спектакль, вслух проклиная себя за недальновидность, помешавшую ему сразу же объявить самую большую ставку.

За час он выиграл ровно три тысячи фунтов и на этом остановился. Он положил фишки в карман и направился в конторку кассира, чтобы обменять их на настоящие деньги.

Он заработал 3000 фунтов на блэк-джеке и 3600 фунтов на рулетке. Всего 6600 фунтов. Ничего бы не стоило заполучить хоть 660 000. В самом деле, сказал он себе, наверняка теперь во всем мире никому не под силу делать деньги быстрее, чем это может он, Генри Шугар.

Кассир, не моргнув глазом, забрал у Генри кучку фишек и прямоугольников. В его блеклых глазах за стеклами очков в стальной оправе не мелькнуло и тени интереса к Генри. Глаза видели только фишки на стойке. В пальцы этого человека тоже было встроено арифметическое устройство. И не только. Арифметика, тригонометрия, математический анализ, алгебра и эвклидова геометрия таились в каждом нерве его тела. Он функционировал как человеческая вычислительная машина с сотней тысяч электрических проводов в мозгу. За пять секунд он обсчитал все сто двадцать фишек Генри.

— Предпочитаете получить чек, мистер Шугар? — спросил он. Кассир, как и портье за стойкой внизу, знал всех членов казино поименно.

— Нет, благодарю вас, — ответил Генри. — Я возьму наличными.

— Как вам угодно, — произнес голос, и его обладатель повернулся и направился к сейфу, стоявшему в недрах конторы и скрывавшему в своих внутренностях, должно быть, миллионы.

Для казино «Лордз-Хауз» деньги, выигранные Генри, были каплей в море. В Лондоне хватало арабских нефтяных шейхов, обожавших азартные игры. А также дипломатов с Дальнего Востока с сомнительной репутацией, японских бизнесменов и уклоняющихся от уплаты налогов британских воротил рынка недвижимости. Ежедневно в крупных лондонских казино выигрывали и проигрывали безумные суммы, по большей части проигрывали.

Вернулся кассир с деньгами Генри и положил пачку банкнот

на стойку. Этих денег хватило бы в те годы на покупку небольшого дома или огромного автомобиля, однако главный кассир «Лордз-Хауз» смотрел на них с полным равнодушием. С таким же видом он мог бы передать Генри пачку жевательной резинки.

Погоди же, дружок, подумал про себя Генри, раскладывая деньги по карманам. Дождешься у меня… И вышел.

— Машину, сэр? — спросил стоявший на выходе человек в зеленой форме.

— Пока нет, — сказал ему Генри. — Пожалуй, я немного подышу воздухом.

И неторопливо побрел по улице. Время близилось к полуночи. Стоял прохладный и приятный вечер. Огромный город еще не спал. Деньги оттягивали карман смокинга. Генри нежно похлопал по нему рукой. Куча денег за час работы.

А что дальше?

Каким станет его следующий ход?

Он мог бы сделать миллион за месяц.

И даже больше, если б захотел.

Нет предела его возможностям.

Бредя по лондонским улицам и вдыхая ночную прохладу, Генри задумался над следующим своим ходом.

Если бы наша история была не правдой, а вымыслом, автору пришлось бы придумать захватывающую и неожиданную развязку. Затруднений особых не возникло бы. Что-нибудь драматичное и необычайное. Поэтому прежде чем поведать о том, что действительно случилось с Генри в реальной жизни, давайте ненадолго остановимся и посмотрим, как опытный беллетрист мог бы закончить это повествование. Его соображения выглядели бы примерно так:

1. Генри должен умереть. Подобно Имрат Хану до него, он нарушил кодекс чести йогов и воспользовался возможностями йоги ради личной выгоды.

2. Лучше всего ему умереть каким-то необычным и любопытным образом, что удивит читателя.

3. К примеру, возвращается он домой, пересчитывает деньги и радуется своей победе. Внезапно ему становится нехорошо. Боль сдавливает грудь.

4. Ему страшно. Нужно немедленно лечь в постель и отдохнуть, думает он. Раздевается. Голышом идет к шкафу за пижамой. Проходит мимо высокого, во весь его рост, зеркала у стены. Останавливается. Разглядывает отражение своего нагого тела. Непроизвольно, в силу привычки начинает

концентрироваться. А потом…

5. Вдруг он видит сквозь свою кожу. Точно так же он видел карты в казино. Словно рентгеновский снимок, только намного лучше. Рентгеновские лучи обнаруживают только кости и уплотнения, а Генри видит все. Он видит артерии и вены, видит, как по ним циркулирует кровь. Он видит свою печень, почки, кишечник, видит, как бьется его сердце.

6. Он рассматривает то место в груди, откуда приходит боль… и видит… или ему кажется, что он видит… маленький темный сгусток внутри большой вены, подходящей к сердцу справа. Что делает этот темный комочек внутри кровеносного сосуда? Должно быть, что-то перегородило вену. Наверное, сгусток крови. Тромб!

7. Поначалу тромб как будто бы стоит на месте. Потом начинает двигаться. Его движение едва заметно, тромб смещается на миллиметр-два. Кровь в вене давит на тромб сзади и подталкивает его вперед. Он резко сдвигается на полтора сантиметра. Вверх, по направлению к сердцу. Генри в ужасе. Все знают, что тромб, оторвавшийся от стенки сосуда и пустившийся в вольное плавание вдоль вены, рано или поздно доберется до сердца. Если тромб достаточно велик, то он закупорит сердце, и человек, скорее всего, умрет…

Неплохой конец для романа, но наша история — не вымысел. В ней все — правда. Выдуманы лишь имя и фамилия героя, а также название казино. Необходимо сохранить настоящее имя Генри в тайне. Оно до сих пор нуждается в защите. И в силу очевидных причин мы не можем сообщить настоящее название казино. А все остальное — чистая правда.

Коль скоро мы повествуем о подлинных событиях, то и конец истории должен быть правдивым. Возможно, истинная развязка покажется вам не столь драматичной и замысловатой, как концовка художественного произведения, но тем не менее она очень интересна. Вот что произошло в действительности.

Погуляв с добрый час по улицам Лондона, Генри вернулся к казино, забрал свою машину и поехал домой. При этом он был озадачен. Как же это так? Такой грандиозный успех, а он почти не взволнован, вообще почти ничего не чувствует. Случись с ним что-либо в этом роде три года назад, прежде чем он затеял эти занятия йогой, он с ума бы сходил от радостных переживаний. Плясал бы на улице и понесся бы в ближайший ночной клуб, чтобы отметить такое дело шампанским.

Самое смешное, что на самом деле он вообще не испытывал

радости. Ему было грустно. Как-то уж очень легко все получилось. Всякий раз, когда он объявлял ставку, он был уверен в выигрыше. Ни дрожи, ни напряженного ожидания, ни страха проиграть. Разумеется, он понимал, что теперь может ездить по всему свету и выигрывать миллионы. Но так ли это интересно?

Генри вдруг осенило — если ты получаешь все, что хочешь, это не доставляет никакой радости. Особенно, если речь идет о деньгах.

И еще одно. Что если путь, который он проделал, стремясь овладеть способностями йога, полностью изменил его мировоззрение?

Очень может быть.

Приехав домой, Генри сразу же лег спать.

На следующее утро он поднялся поздно. Но чувствовал себя столь же подавленно, как и прошлой ночью. А выбравшись из постели и увидев огромную пачку банкнот, которая так и валялась на туалетном столике, он вдруг почувствовал острое отвращение к ним. Они ему не нужны. Он не мог объяснить почему, но факт оставался фактом: ему не нужно ни единого фунта из этой кучи.

Он взял в руки пачку. Триста тридцать банкнот по двадцать фунтов. Он вышел на балкон в темно-красной шелковой пижаме и посмотрел вниз.

Генри жил на улице Керзон, находящейся прямо в центре самого фешенебельного и дорогого района в Лондоне, знаменитого Мейфэр. Одним концом улица упирается в Беркли-сквер, другим — в Парк-лейн. Генри жил на третьем этаже, и в его спальне имелся нависавший над улицей балкончик со стальными поручнями.

Был июнь месяц, все утро полнилось солнечным сиянием, а часы показывали около одиннадцати. Хотя день был воскресный, гуляющих на тротуарах внизу было очень мало.

Генри вытащил одну двадцатифунтовую банкноту из пачки и бросил с балкона. Ветерок подхватил ее и понес в сторону Парк-лейн. Генри следил за ее полетом. Она кружилась и порхала в воздухе и, наконец, плавно опустилась на другой стороне улицы под ноги старику. Старик в длинном коричневом поношенном плаще и шляпе с обвисшими полями медленно брел по тротуару. Заметив порхающую перед носом банкноту, старик остановился и нагнулся за ней. Он схватил ее обеими руками и уставился на нее. Осмотрел ее со всех сторон. Поднес поближе к глазам. Потом поднял голову и поглядел вверх.

— Эй, вы там! — закричал Генри, сложив ладонь рупором. — Это вам! Подарок!

Старик встал, как вкопанный, держа банкноту перед собой и вглядываясь в фигуру на балконе.

— Положите ее в карман! — кричал Генри. — Отнесите домой! — Его голос разнесся далеко по всей улице, и немногочисленные прохожие, останавливаясь, задирали головы и смотрели вверх.

Генри взял вторую банкноту и бросил ее вниз. Зеваки внизу не двинулись с места. Только глядели. И не могли взять в толк, что происходит. Какой-то человек что-то кричал сверху с балкона, потом скинул вниз вроде бы на вид бумажку. Все следили за полетом клочка бумаги, который, порхая, слетел вниз и на этот раз опустился близ юной пары, стоявшей, держась за руки, на тротуаре по ту сторону улицы. Молодой человек выпустил подругу и потянулся за бумажкой. Не поймал ее и поднял уже с земли. Внимательно ее осмотрел. Зеваки во все глаза уставились на юношу. Многим бумажка показалась очень похожей на банкноту, и им не терпелось узнать, угадали ли они.

— Это двадцатка! — завопил парень, подпрыгивая от радости. — Банкнота в двадцать фунтов!

— Оставьте ее себе! — крикнул ему Генри. — Она ваша!

— Вы серьезно? — прокричал в ответ тот, вытягивая руку с зажатой в кулаке банкнотой. — Можно взять, правда?

Внезапно улицу охватило волнение, все сразу засуетились. Прохожие выбежали на мостовую и столпились под балконом. Вытянув руки, они стали кричать:

— А мне?! А нельзя ли теперь и мне?! Скинь нам еще, дяденька! Еще немножко!

Генри снял сверху еще пять или шесть бумажек и швырнул их в толпу.

Люди кричали и вопили, пока подхваченные ветром банкноты медленно спускались вниз, и когда они наконец коснулись чьих-то рук, на улице образовалась самая настоящая свалка. Но все происходило очень добродушно. Народ веселился и хохотал. Как же, розыгрыш такой, что уму непостижимо. На третьем этаже стоит человек в пижаме и бросает на ветер такие ценные бумажки.

Но события развивались.

Новости разносятся по улицам большого города с невообразимой скоростью. Весть о том, что творит Генри, молнией пронеслась по улице Керзон, от одного края до противоположного, и перелетела в соседние улицы и переулки. Со всех сторон стали сбегаться люди. Собравшаяся за какие-то считанные минуты под балконом толпа в добрую тысячу мужчин, женщин и детей перекрыла улицу и сорвала все уличное

движение. Водители автомобилей, которым толпа преграждала путь, выходили из машин и присоединялись к пешеходам. И внезапно на улице Керзон воцарился беспорядок.

Тогда Генри просто поднял руки вверх, взмахнул ими и выпустил всю пачку банкнот. Бумажки закружились в воздухе, плавно опускаясь в руки визжащей толпе.

Что тут началось! Люди стали подпрыгивать, чтобы перехватить деньги еще на лету, все толкались, пихались, кричали и падали друг на друга, и вскоре вся площадка под балконом превратилась в беспорядочное скопление извивающихся, вопящих, дерущихся людей.

Вдруг сквозь шум Генри услышал громкий звонок в дверь. Он ушел с балкона и открыл дверь. За ней, подбоченясь, стоял огромный черноусый полицейский.

— Вы! — рассерженно рявкнул он. — Что это вы себе позволяете?

— Доброе утро, офицер, — поздоровался Генри. — Мне очень жаль, что собралась толпа. Я и не думал, что так получится. Просто хотел избавиться от кое-каких денег.

— Вы вызвали нарушение общественного порядка! — рычал полисмен. — Создали пробку! Заблокировали всю улицу!

— Я же сказал, что прошу прощения, — отвечал Генри. — Я больше не буду, обещаю. А они скоро разойдутся.

Полицейский оторвал одну руку с бедра и показал двадцатифунтовую бумажку.

— Ага! — закричал Генри. — Вам тоже одна досталась! Мне очень приятно! Я так рад за вас!

— Хватит валять дурака! — сказал полицейский. — У меня есть к вам несколько серьезных вопросов по поводу этих двадцаток. — Он достал блокнот из нагрудного кармана. — Во-первых, — продолжил он, — где вы их взяли?

— Выиграл, — ответил Генри. — Мне очень везло вчера вечером. — Он назвал клуб, где выиграл деньги, и полицейский записал это в блокнот. — Можете проверить, — добавил Генри. — Они подтвердят, что это правда.

Полицейский спрятал блокнот и посмотрел Генри в глаза.

— Вообще-то, я вам верю, — сказал он. — Думаю, вы говорите правду. Но это ничуть вас не извиняет.

— Я не делал ничего дурного, — сказал Генри.

— Полный идиот! — снова раскипятился полицейский. — Вы осел и тупица! Если вам повезло выиграть огромную сумму денег, а теперь вы решили от них избавиться, незачем швырять их в окно!

— А почему нет? — широко ухмыльнулся Генри. — От денег

можно избавляться любым способом. И этот ничуть не хуже других.

— Глупый, дурацкий способ! — возмутился полицейский. — Почему бы вам не пожертвовать их на какое-то доброе дело? Отдать их в больницу, скажем? Или в сиротский приют? По всей стране полно приютов, у которых нет денег даже на подарки детям к Рождеству! И тут появляется умник вроде вас, который даже не представляет, что такое жить в нищете, и выбрасывает деньги на улицу! Меня это бесит!

— Сиротский приют? — переспросил Генри.

— Да, приют! — вскричал полицейский. — Я сам вырос в приюте, и мне ли не знать, что это такое! — С этими словами полицейский повернулся и стал быстро спускаться по лестнице на улицу.

Генри не пошевелился. Слова полицейского и, еще больше, неподдельная ярость, с которой они были произнесены, подействовали на нашего героя как удар между глаз.

— Сиротский дом? — вслух произнес он. — А что, это мысль. Но почему только один приют? Почему не множество сиротских домов?

В его голове молниеносно созрел великий и чудесный замысел, который все изменит.

Генри запер входную дверь и вернулся в комнату. Сердце бешено колотилось, внутри все бурлило. Он мерил шагами комнату, отмечая в уме пункты, с помощью которых он воплотит свою замечательную идею в жизнь.

— Раз, — загнул палец он. — Я могу выигрывать очень крупную сумму денег каждый день.

Два. Мне нельзя появляться в одном и том же казино чаще раза в год.

Три. Нельзя выигрывать слишком много в одном казино, не то кто-нибудь заподозрит неладное. Думаю, что не стоит перешагивать за предел тысяч двадцати за вечер.

Четыре. Двадцать тысяч фунтов за вечер умножить на триста шестьдесят пять дней — сколько получится за год?

Генри взял бумагу и карандаш и подсчитал.

Семь миллионов триста тысяч фунтов.

— Очень хорошо. Пункт номер пять. Я все время должен перемещаться. Не более двух или трех вечеров подряд в одном городе, не то пойдут слухи. Еду из Лондона в Монте-Карло. Потом в Канны. В Биарриц. В Довилль. В Лас-Вегас. В Мехико. В Буэнос-Айрес. В Нассау. И так далее.

Шесть. На выигранные деньги я построю первоклассные приюты в каждой стране, куда заезжаю. Я стану Робин Гудом.

Буду отнимать деньги у букмекеров и владельцев игорных домов и отдавать их детям. Звучит слащаво и сентиментально? Если об этом просто мечтать, то да. Но если я способен претворить эту идею в жизнь, то в ней нет ни капли слащавости или сентиментальности. Это будет нечто грандиозное.

Семь. В одиночку мне не справиться. Нужен человек, который будет сидеть дома, распоряжаться всеми этими деньгами, покупать дома и заниматься организацией всего дела. Человек, умеющий работать с деньгами. Которому я могу доверять. Как насчет Джона Уинстона?

Джон Уинстон был бухгалтером Генри. Он занимался его подоходными налогами, капиталовложениями и прочими делами, связанными с деньгами. Генри знал его восемнадцать лет, и за эти годы они подружились. Однако не забывайте, что до сих пор Джон Уинстон знал Генри только как богатого праздного повесу, не работавшего ни единого дня в своей жизни.

— Должно быть, вы тронулись умом, — сказал Джон Уинстон после того, как Генри посвятил его в свой замысел. — Никто еще не придумал систему разгрома казино.

Генри извлек из своего кармана новую нераспечатанную карточную колоду.

— Давайте попробуем, — предложил он. — Сыграем по маленькой в блэк-джек. Вы сдаете. И не говорите мне, что карты меченые. Это новая колода.

Целый час двое мужчин в конторе Уинстона с окнами, выходящими на Беркли-сквер, сосредоточенно играли в блэк-джек. Вместо фишек они взяли спички, одна спичка стоила двадцать пять фунтов. Пятьдесят минут спустя Генри разбогател ни много ни мало — на тридцать четыре тысячи фунтов!

Джон Уинстон отказывался верить в случившееся.

— Как вам это удается? — изумленно спросил он.

— Положите колоду на стол, — велел Генри. — Лицевой стороной вниз.

Уинстон повиновался.

Генри на четыре секунды сосредоточился на верхней карте.

— Валет червей, — сказал он. И не ошибся.

— Следующая… тройка червей.

Снова угадал. Так он перечислил все карты в колоде.

— Расскажите, как вы это делаете, — попросил Джон Уинстон.

Этот обычно спокойный человек с математическим складом ума перегнулся через стол, глядя на Генри круглыми блестящими глазами.

— Вы понимаете, что вытворяете совершенно немыслимые вещи? — спросил он.

— В мире нет ничего невозможного, — ответил Генри. — Да, этому очень трудно научиться. Кроме меня, нет на свете человека, способного на такое.

На столе Джона Уинстона зазвонил телефон. Он поднял трубку и сказал своей секретарше:

— Пожалуйста, ни с кем меня не соединяйте, Сьюзан. Пока я не скажу. Нет, даже с женой.

Он поднял глаза на Генри, ожидая продолжения.

Генри объяснил Джону Уинстону, каким образом он приобрел эту способность. Он рассказал, как наткнулся на тетрадку, как узнал историю Имрат Хана, и поведал о своей непрерывной работе, о том, как в течение трех лет он тренировал сознание, заставляя его концентрироваться.

— А по углям ходить не пробовали? — поинтересовался Джон Уинстон, когда Генри закончил свой рассказ.

— Нет, — ответил Генри. — И не собираюсь.

— А с чего вы взяли, что сумеете угадать карты в казино?

Тогда Генри рассказал ему о своем посещении «Лордз-Хауз» накануне вечером.

— Шесть тысяч шестьсот фунтов! — взвился Джон Уинстон. — Неужели вы в самом деле выиграли столько денег?

— Послушайте, — усмехнулся Генри. — Я ведь только что меньше чем за час выиграл у вас тридцать четыре тысячи фунтов!

— Да, верно.

— Шесть тысяч — это самое малое, что я мог выиграть, — сказал Генри. — Мне жутких усилий стоило не выиграть больше.

— Вы станете самым богатым человеком на свете.

— Да не хочу я становиться самым богатым человеком на свете, — отмахнулся Генри. — Больше уже не хочу.

И посвятил Уинстона в свой план по поводу сиротских приютов.

— Поможете мне, Джон? Будете моим казначеем, банкиром, управляющим и всем прочим? — предложил Генри, завершив свой рассказ. — Каждый год на наш счет будут поступать миллионы.

Джон Уинстон, осторожный и предусмотрительный бухгалтер, никогда не давал согласия под влиянием минуты.

— Мне бы хотелось сначала посмотреть на вас в деле, — ответил он.

Так что вечером они вместе отправились в «Ритц» на улице Керзон.

— Какое-то время мне не стоит появляться в «Лордз-Хауз», —

пояснил Генри.

На первом обороте колеса рулетки Генри поставил сто фунтов на номер 27. И выиграл. Другой раз он поставил на четвертый номер. И снова выиграл. Итого: 7500 фунтов прибыли.

Стоявший рядом с Генри араб сказал:

— Я только что проиграл пятьдесят пять тысяч фунтов. Как вам это удается?

— Повезло, — пожал плечами Генри. — Просто повезло.

Потом они перешли в зал для игры в блэк-джек, и там за полчаса Генри выиграл еще 10 000 фунтов. И на этом остановился.

— Теперь я вам верю. И готов работать с вами, — произнес потрясенный Джон Уинстон, когда они вышли на улицу.

— Начинаем завтра, — сказал Генри.

— Вы в самом деле собираетесь проделывать это каждый вечер?

— Да, — ответил Генри. — Мне придется часто переезжать с места на место, из страны в страну. И каждый день я буду пересылать вам свои выигрыши банковским переводом.

— Вы хоть представляете, о каких суммах идет речь?

— О миллионах, — с готовностью ответил Генри. — Около семи миллионов в год.

— В таком случае я не смогу работать в этой стране, — заявил Джон Уинстон. — Большая часть прибылей будет уходить на налоги.

— Поезжайте в любую другую страну, — согласился Генри. — Мне без разницы. Я вам полностью доверяю.

— Поеду в Швейцарию, — решил Джон Уинстон. — Но не завтра. Я не могу просто собраться и улететь. Я же не свободный холостяк, вроде вас, у меня обязательств полно. Надо поговорить с женой и детьми. Известить партнеров по фирме о своем увольнении. Продать дом. Найти другой в Швейцарии. Детей из школы забрать. На все это нужно время!

Генри вытащил из кармана те семнадцать с половиной тысяч, которые только что выиграл, и протянул деньги товарищу.

— Вот кое-какая мелочевка. Перебьетесь, пока суд да дело. Но не тяните. Хочется начать поскорее.

Через неделю Джон Уинстон уже был в Лозанне, в конторе на высоком склоне холма с очаровательным видом на Женевское озеро. Семья должна была приехать к нему при первой же возможности.

И Генри приступил к работе.

За год он перевел Джону Уинстону в Лозанну чуть более восьми миллионов фунтов. Деньги переводились пять дней в

неделю на счета швейцарской компании «Орфанаж С. А.», то есть «АО Сиротские Дома». Никому, кроме Джона Уинстона и Генри, не было известно, откуда поступают деньги и для какой цели. Что до швейцарских властей, так их никогда не интересует, откуда берутся деньги. Генри переводил деньги через банки. Перевод в понедельник всегда оказывался внушительнее прочих, потому что Генри включал в него выигрыши не только за пятницу, но и за субботу и воскресенье, когда банки не работают. Он передвигался по свету с ошеломительной быстротой, и зачастую Джон Уинстон догадывался о его местопребывании только по адресу банка, со счетов которого поступали деньги в тот или иной день. Сегодня деньги могли прийти, скажем, из банка Манилы. Завтра из Бангкока. Они поступали из Лас-Вегаса, Кюрасао, Фрипорта, с Каймановых островов, из Сан-Хуана, Нассау, Лондона, Биаррица. Они приходили отовсюду, изо всех городов мира, в которых были крупные казино.

Семь лет все шло замечательно. В Лозанну прибыло почти пятьдесят миллионов фунтов, которые переводились на счета в надежных банках. Джон Уинстон учредил три сиротских приюта — во Франции, в Англии и в Соединенных Штатах. И еще пять были на подходе.

Потом начались мелкие неприятности. У владельцев казино хорошо налажена система обмена информацией, и хотя Генри всегда соблюдал предельную осторожность и никогда не выигрывал чересчур много за один вечер в одном месте, все же в конце концов о нем пошла молва.

Его умудрились вычислить однажды вечером в Лас-Вегасе, когда Генри неосмотрительно выиграл по сто тысяч долларов в трех разных казино, которые, как оказалось, принадлежали одной шайке.

А потом произошло вот что. На следующее утро, когда Генри в гостиничном номере собирался в аэропорт, в дверь постучали. Вошел коридорный и шепотом сообщил Генри, что в вестибюле его дожидаются двое. Другие сторожат черный ход. Серьезные люди, доложил коридорный, и у Генри мало шансов уцелеть, если он сейчас выйдет на лестницу.

— С какой стати вы меня предупреждаете? — поинтересовался Генри. — Почему вы на моей стороне?

— Я ни на чьей стороне, — ответил тот. — Но всем известно, что вчера вечером вы выиграли кучу денег, и я подумал, что могу рассчитывать на щедрый подарок, если помогу вам улизнуть отсюда.

— Спасибо, — поблагодарил Генри. — Но как мне выбраться?

Я заплачу вам тысячу долларов, если вы мне поможете.

— Легко, — обрадовался коридорный. — Скидывайте вашу одежду и надевайте мою форму. Потом выйдете через вестибюль со своим чемоданчиком. Только сначала свяжите меня. Лучше я полежу тут на полу связанный по рукам и ногам, а то они догадаются, что это я вам помог смыться. Скажу, что у вас был пистолет и я ничего не мог сделать.

— Где взять веревку? — спросил Генри.

— У меня в кармане, — расплылся в улыбке коридорный.

Генри надел зелено-золотую униформу коридорного, которая пришлась ему почти впору. Потом крепко связал парня и затолкал носовой платок ему в рот. Спрятал десять стодолларовых банкнот под ковром, чтобы коридорный смог забрать их потом.

Внизу в вестибюле двое приземистых, толстых черноволосых головорезов внимательно оглядывали каждого, кто выходил из лифта. Но они едва удостоили взглядом человека в зеленой с золотом форме и с чемоданчиком в руке, который уверенной походкой прошел через вестибюль и скрылся за крутящейся дверью на улице.

В аэропорту Генри поменял прежде запланированный маршрут и купил билет на следующий рейс в Лос-Анджелес. Похоже, что впредь дела пойдут не так хорошо, сказал он себе. Но коридорный подсказал ему интересную мысль.

Прилетев в Лос-Анджелес, Генри направился в Голливуд и Беверли-Хиллз, где живут киношники, и занялся поисками лучшего гримера. Им оказался Макс Энгельман. Генри нанес ему визит. И тот понравился ему с первого взгляда.

— Сколько вы зарабатываете? — спросил у него Генри.

— Около сорока тысяч долларов в год, — ответил Макс.

— Я буду платить вам сто тысяч, — предложил Генри, — если вы отправитесь со мной и станете моим гримером.

— Что это значит? — удивился Макс.

— Сейчас расскажу, — пообещал Генри. И рассказал.

Макс стал вторым человеком, которому Генри открыл свою тайну. Первым был Джон Уинстон. А когда Генри показал Максу, как он может читать карты, Макс рот открыл от изумления.

— Господи Боже! — воскликнул он. — Вы могли бы нажить себе целое состояние!

— Уже нажил, — сказал ему Генри. — Десять состояний даже. Но я хочу сделать еще десять.

Он рассказал Максу про сиротские дома. С помощью Джона Уинстона он уже учредил три приюта, а другие на подходе.

Макс был невзрачным смуглым евреем, сумевшим сбежать из

Вены перед тем, как туда вошли нацисты. Он никогда не был женат. Его ничто не связывало. И он пришел в дикий восторг.

— Рехнуться можно! — закричал он. — Ничего безумнее за всю свою жизнь не слыхал! Я с вами навсегда! Вперед!

С тех пор Макс Энгельман везде сопровождал Генри. При нем всегда находился саквояж с париками, накладными бородами, бакенбардами, усами и прочими гримерными приспособлениями, которых мы с вами никогда не видели. Он превращал своего шефа в одного из тридцати или сорока неузнаваемых человек, и администраторы казино, которые все теперь знали про Генри и выслеживали его, никогда больше не видели его в облике мистера Генри Шугара. Кстати, всего лишь год спустя после происшествия в Лас-Вегасе Генри и Макс вернулись в этот опасный город, и теплой звездной ночью Генри выиграл целых восемьдесят тысяч долларов в одном из тех крупных казино, где побывал в прошлый раз. Он пришел туда в обличье пожилого бразильского дипломата, и они так и не поняли, что с ними произошло.

Теперь, коль скоро Генри перестал появляться в казино под своим именем, надлежало, разумеется, позаботиться о множестве мелочей, включая фальшивые удостоверения и паспорта. В Монте-Карло, например, гостя просят сначала показать паспорт и лишь потом пускают в заведение. С помощью Макса Генри еще одиннадцать раз побывал в Монте-Карло, всякий раз с другим паспортом и в ином обличье.

Максу очень нравилась эта работа. Он обожал создавать новые обличья Генри.

— У меня для вас сегодня нечто свеженькое! — к примеру, объявляет он. — Подождите, сейчас покажу! Сегодня вы будете арабским шейхом из Кувейта!

— А арабский паспорт у нас есть? — спрашивает Генри.

— У нас все есть, — отвечает Макс. — Джон Уинстон прислал мне чудесный паспорт на имя его королевского высочества шейха Абу Бин-Бея!

Так оно и шло. С годами Макс и Генри сблизились, как братья. Они стали братьями по оружию, двумя крестоносцами, которые стремительно проносятся по небесам, вытягивают деньги из всех казино мира и переводят их Джону Уинстону в Швейцарию, где компания под названием «Орфанаж С. А.» становится все богаче и богаче.

Генри умер в прошлом году в возрасте шестидесяти трех лет. Его работа завершена. Он посвятил ей двадцать лет своей жизни.

В его личном справочнике перечислено триста семьдесят одно казино в двадцати одной стране. Он бывал во всех этих

заведениях множество раз и ни разу не проиграл.

Согласно бухгалтерским книгам Джона Уинстона, он выиграл в общей сложности сто сорок четыре миллиона фунтов стерлингов.

Он учредил двадцать один хорошо обустроенный сиротский дом. Они рассеяны по всему свету, по одному в каждой стране, в которой он бывал. Все приюты финансируются из Лозанны, ими управляют Джон Уинстон и его служащие.

Но каким образом мне (ведь я не Макс Энгельман и не Джон Уинстон) удалось узнать обо всех этих событиях? И вообще, почему я пишу этот рассказ?

Сейчас расскажу.

Вскоре после смерти Генри Джон Уинстон позвонил мне из Швейцарии. Он представился главой компании, именующей себя «Орфанаж С. А.», и спросил, не могу ли я прибыть в Лозанну и встретиться с ним с целью написания краткой истории их организации. Не знаю, откуда он обо мне узнал. Наверное, перед ним лежал список писателей, и он просто ткнул в него наугад. Он пообещал хорошо заплатить. И еще добавил:

— Недавно умер выдающийся человек. Его звали Генри Шугар. Думаю, люди должны узнать о его трудах.

Я впервые слышал это имя, поэтому спросил, представляет ли его история интерес, стоит ли тратить на нее бумагу.

— Ладно, — ответил человек, контролировавший сто сорок миллионов фунтов стерлингов. — Забудьте. Попрошу кого-нибудь еще. Писателей полно.

Это меня задело.

— Нет, — остановил его я. — Подождите. Скажите хотя бы, кто такой был этот Генри Шугар и что он такого сделал? Я никогда даже не слышал о нем.

За пять минут по телефону Джон Уинстон посвятил меня в некоторые подробности тайной деятельности Генри Шугара. Секрета в ней больше не было: Генри мертв и никогда больше не будет играть. Я слушал, как зачарованный.

— Прилечу первым же рейсом, — пообещал я.

— Спасибо, — сказал Джон Уинстон. — Буду весьма признателен.

В Лозанне я познакомился с Джоном Уинстоном, которому теперь было чуть больше семидесяти, и с Максом Энгельманом, примерно того же возраста. Оба до сих пор не могли оправиться после смерти Генри. Макс переживал даже сильнее, чем Джон, ведь Макс неотлучно находился при Генри более тринадцати лет.

— Я любил его, — с помрачневшим лицом произнес Макс. —

Это был великий человек. Никогда не думал о себе. Не взял ни пенни из выигранных денег, кроме тех, что тратил на дорогу и питание. Послушайте, однажды мы были в Биаррице. Он только что перевел Джону полмиллиона франков. Время было обеденное. Мы зашли в кафе и заказали по омлету и бутылку вина, а когда принесли счет, то у Генри не оказалось при себе денег, чтобы расплатиться. У меня тоже. Славный был человек.

Джон Уинстон рассказал мне все, что знал. Показал мне ту самую синюю тетрадку, которую заполнил в 1934 году в Бомбее доктор Джон Картрайт, и я дословно переписал ее.

— Генри всегда носил ее с собой, — сказал Джон Уинстон. — В конце концов он выучил текст наизусть.

Он показал мне бухгалтерские книги фирмы «Орфанаж С. А.» с суммами выигрышей Генри, регистрировавшимися день за днем в течение двадцати лет. Они произвели на меня ошеломляющее впечатление.

— В вашей истории есть большой пробел, мистер Уинстон, — заметил я, выслушав его до конца. — Вы почти ничего не рассказали о путешествиях Генри и его приключениях в казино всего мира.

— Об этом пусть Макс расскажет, — сказал Джон Уинстон. — Макс все про это знает, потому что везде сопровождал его. Но он хочет сам попробовать писать. Он уже начал.

— Тогда почему бы Максу не написать всю историю? — удивился я.

— Не хочет он, — ответил Джон Уинстон. — Ему хочется писать только про Генри и Макса. Повесть получилась бы изумительная, если бы он успел ее закончить. Но он уже старый, как, впрочем, и я, поэтому, боюсь, ему это не удастся.

— Последний вопрос, — сказал я. — Вы продолжаете называть его Генри Шугар. Однако вы говорили, что в действительности его звали по-другому. Разве вы не хотите, чтобы в рассказе я назвал его настоящее имя?

— Нет, — покачал головой Джон Уинстон. — Мы с Максом дали слово никогда этого не делать. Скорее всего оно всплывет на поверхность рано или поздно. Как-никак он принадлежит к достаточно известному английскому роду. Но я буду вам признателен, если вы не станете выяснять настоящее имя. Называйте его просто мистер Генри Шугар.

И я выполнил его просьбу.

roald dahl